

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР
КАЛИНИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЯЗЫК И РЕЧЬ
КАК ОБЪЕКТЫ
КОМПЛЕКСНОГО ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

Межвузовский тематический сборник

966265

КАЛИНИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАЛИНИН 1981

Р. Р. ГЕЛЬГАРДТ,
В. Н. РАСТОРГУЕВ
(Калининский госуниверситет)

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ И СТАТУС СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОЛОГИИ

1. Филологические науки составляют важный и весьма обширный раздел гуманитарного знания. Ф. Энгельс высоко ценил филологию, называя ее «колossalно обширной наукой»¹, а гуманитарные науки — человеческой историей. Эти высказывания сохраняют свою истинность и в настоящее время, несмотря на существенные изменения, произошедшие в предметной области наук вследствие закономерного процесса их дифференциации. Как отмечает Б. М. Кедров, гуманитарные науки изучают историю в качестве основного объекта познания, исследуют ее в двух планах, или «разрезах»: «как развитие всего общества во взаимозависимости всех его сторон и элементов и... как развитие какой-либо одной или нескольких структурных его сторон, выделенных из общей взаимосвязи»². Поскольку филология входит в сферу наук гуманитарных, она также изучает «историю общества». Однако изучение это идет не в глобальном объеме, так как филология обращается лишь к определенным социальным феноменам, которые исследователь «из всеобщей взаимосвязи» выделяет. Такая процедура «выделения» создает некоторые предпосылки для комплексного и системного анализа, доступного философским методам познания.

2. Определение современного статуса филологии есть задача, выходящая за пределы собственно филологических знаний в области общей методологии и науковедения. Повышенный интерес филологов к этой проблеме объясним их стремлением осознать и оценить аксиоматические принципы данной научной дисциплины (имеются в виду и соображения, вызванные самой практикой, в смысле возможности и не-

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 29, с. 477.

² Кедров Б. Наука. — В кн.: Философская энциклопедия. М., 1964, т. 3, с. 582.

обходимости строить исследовательскую работу по определенной программе, соответствующей тем или иным исходным представлениям о предмете и задачах филологии). При этом уясняется и допустимость использования методов, которыми оперируют другие гуманитарные науки, а также естествознание и науки математические.

3. Проблема статуса филологии долгое время была и все еще остается остро дискуссионной, о чем можно судить по разноречивым высказываниям многих ученых³ и на основании продолжающихся обсуждений реальности ее бытия⁴. Термин «филология» получает у разных авторов и в различные исторические периоды далеко не однозначные толкования. Иногда к филологии причисляли неопределенно большой круг знаний, без различия отдельных научных дисциплин («*Dictionnaire universel*» А. Фюртьера) или даже только «влечение к определенного рода знаниям» (Ф. Вольф)⁵. Содержание термина оказывается исторически изменчивым и не совпадающим с современным, более или менее распространенным (актуальным) значением. Так, например, указывают, что у греков это было «изучение духовной жизни народа; со временем Возрождения — изучение древней классической духовной культуры; с XVIII в. — совокупность знаний о духовной жизни разных культурных народов, группа наук, начинаящихся с познания языка как

³ Ср.: Будагов Р. А. О некоторых общих проблемах филологии. — Филол. науки, 1976, № 1; Реформатский А. А. Введение в языкознание. М., 1967, с. 49; Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию. М., 1963, т. 1, с. 35—44, 204—205; Шухардт Г. Избранные статьи по языкознанию. М., 1950, с. 51, 260—261; Мендес М. И. О задачах филологии. — Филол. обозрение, 1897, т. 12; Gerhard F. W. Grundriss der Archeologie. Berlin, 1858; Schleicher A. Deutsche Sprache. III. Auflage, 1874; Sprachvergleichende linguistische Untersuchungen. Bonn, 1848 — В. I, 1850 — В. II; Die Darwinische Theorie und die Sprachwissenschaft. Weimar, 1863; Brugmann K. Zur Frage nach den Verwandschaftsverhältnissen der indogermanischen Sprachen, 1884. Обзоры работ по «текстовой филологии» см.: Petersen J. Die Wissenschaft von der Dichtung: System und Methodenlehre der Literaturwissenschaft. Berlin, 1939; Kayser W. Das sprachliche Kunstwerk: Einführung in die Literaturwissenschaft. Bern, 1948.

⁴ Будагов Р. А. Несколько замечаний в защиту филологии как комплексной науки. — В кн.: Сборник докладов и сообщений лингвистического общества. Калинин, 1974, IV; Гельгардт Р. Р. Пути развития современной филологии. — Филол. науки, 1977, № 1; Аверинцев А. А. Филология. — В кн.: Краткая литературная энциклопедия. М., 1972, т. 7.

⁵ См.: Будагов Р. А. Несколько замечаний в защиту филологии как комплексной науки, с. 13.

древнейшего памятника культуры, затем переходящих к продуктам мышления, запечатленного языком, — к мифам, песням, литературным произведениям, к искусству, развитию общественности и т. д.; в общем — совокупность лингвистических, исторических и философских наук⁶. Определение филологии как такой «совокупности» бытует и в нашей современности. Но чаще содержание дефиниции конкретизируется указанием на то, что изучению подлежит «культура какого-либо народа, выраженная в языке и литературном творчестве»⁷. По утверждению Р. А. Будагова, в филологии объединяются наука о языке и наука о художественной литературе, чем и «определялось значение филологии в системе гуманитарных наук в разных странах и у разных народов»⁸. В современной зарубежной терминологической практике наблюдается большая пестрота трактовок содержания понятия «филология». Ее приравнивают к лингвистике («3. Philology — linguistics»)⁹, «истории языка и его грамматике»¹⁰ или к «искусству истолковывать тексты»¹¹. При расширенном осмыслиении филологией называют «науку, изучающую интеллектуальную жизнь народа»¹² или исследующую интеллектуальную, социальную и художественную жизнь одного, а также нескольких народов¹³, духовное развитие и своеобразие народа или культуры, выраженной в языке и литературе¹⁴. Отмечается, что из состава филологии выделились лингвистика и литературоведение¹⁵. Чрезвычайно

⁶ Ефремов Е. Новый полный словарь иностранных слов, вошедших в русский язык / Под ред. И. А. Бодуэна де Куртенэ. М., 1911, с. 519.

⁷ Словарь русского языка: В 4-х т. М., 1961, т. IV; с. 774;ср. вариант формулировки: «Совокупность лингвистических, исторических и философских знаний о культуре того или иного народа или семьи народов» (Словарь иностранных слов, вошедших в русский язык / Под ред. Т. М. Капельзона. М., 1933, стлб. 1254).

⁸ Будагов Р. А. Несколько замечаний в защиту филологии как комплексной науки, с. 17.

⁹ Webster's New Twentieth Century Dictionary of the English Language. 2-nd ed. Cleveland; New-York, 1971, p. 1346; Немецко-русский словарь / Под ред. А. А. Лепинга и Н. П. Страховой. М., 1958, с. 862.

¹⁰ Dictionnaire encyclopédique Quillet. Paris, 1979, p. 5167.

¹¹ Der Neue Brockhaus Lexikon und Wörterbuch: In 5 Bänden. Vierte neu bearb. Auflage. Wiesbaden, 1968, Bd. 4, S. 169; Meyers neues Lexicon: In 18 Bänden. Zweite völlig neu erarb. Auflage. Leipzig, 1976, Bd. 10, S. 619.

¹² Dictionnaire encyclopédique Quillet, p. 5167.

¹³ Philologie — In: Petit Larousse illustrée. Paris, 1913.

¹⁴ Der Neue Brockhaus Lexikon., S. 169.

¹⁵ Ibid.

широкая интерпретация филологии как науки о духовной культуре народа влечет за собой размытость границ и несколько сближает ее с кругом проблем, включаемых в *Volkskunde* или *Völkerkunde*¹⁶. Но при большей конкретизации термина его содержание несколько сближается с тем, которое наиболее распространено и в советской науке. Некоторые авторы называют филологией науку о языке и литературе, особенно поэзии, а отсюда — об общей культуре народа, которая воплощается в языковом материале и в произведениях словесного искусства¹⁷. Филологию подразделяют на лингвистику (общее языкознание и история языка) и литературоведение (общее литературоведение или поэтика и история литературы)¹⁸, или филологию определяют как науку о языке, литературе и письменности¹⁹.

4. Некоторые наши современники утверждают, что филология существует теперь только в составе названий ученых степеней и факультетов высших учебных заведений, а не как научная дисциплина *sui generis*. Сомнения в праве филологии занимать место среди полноправных, «бесспорных» и вполне респектабельных наук высказывались и Г. Шухардтом. Этот выдающийся ученый возражал против тенденции к механическому объединению лингвистики и литературоведения в единой филологии: «языки, как бы далеко они ни стояли один от другого, в научном смысле связаны между собой гораздо теснее, чем язык и литература, даже тогда, когда они принадлежат одному и тому же народу»²⁰. Вместе с тем Г. Шухардт признавал возможность «взаимообмена» в той мере, в какой языкознание и литературоведение выступают по отношению друг к другу «вспомогательными науками». Г. Шухардт предлагал вообще «отказаться от термина «филология»²¹. В одной из его последних работ мы читаем: «Наибольшую путаницу... породило слово «филология». В течение сорока лет я высказываюсь против его применения, и мое мнение о нем и сейчас остается прежним»²².

¹⁶ Das Bertelsmann Lexikon: In 10 Bd. Berlin, 1977, Bd. 10, S. 164, 172.

¹⁷ Das Bertelsmann Lexikon, Bd. 7, S. 389.

¹⁸ Ibid., S. 389.

¹⁹ Die Welt von A—Z: In 2 Bd. / Hrsg. von R. und M. Bamberger. Wien: München, 1974, Bd. 11, S. 252.

²⁰ Шухардт Г. О фонетических законах. — В кн.: Избранные статьи по языкознанию. М., 1950, с. 52.

²¹ Там же, с. 51.

²² Шухардт Г. Личность автора в лингвистическом исследовании. — В кн.: Избранные статьи по языкознанию, с. 260.

«Тщетно — писал Г. Шухардт, — разыскиваю я в других областях знания аналогию тому, что следует понимать под термином «филология». Разве объединяют когда-нибудь, например, флору и фауну того или иного района в одну общую дисциплину?»²³ Впрочем, как уже было отмечено, «аналогию» совсем не так уж трудно было найти, стоило бы только вспомнить народоведение, этнографию (*Völkerkunde*), изучающую народы, этнические общности в плане этногенеза, их материальной и духовной культуры, быта, исторических отношений и тесно связанную с такими науками, как история и археология, искусствоведение, фольклористика, с науками экономическими, с социологией и лингвистикой, с физической и социальной географией, демографией и антропологией. Здесь можно было бы упомянуть Ф. Гребнера, который нацелил методы этнологии на установление «культурных кругов» (*Kulturreise*, *Kulturgroßen*, *Kulturlandschaften*)²⁴, а также В. Песслера, поставившего вместе с другими немецкими учеными задачу создания «всеобъемлющей немецкой этногеографии» (*umfassende deutsche Ethnogeographie*)²⁵. Отрицание же Г. Шухардтом допустимости «объединения... флоры и фауны... в одной общей дисциплине», несмотря на то, что различительные черты между растениями и животными не представляются ботаникам и зоологам резко выраженным, позволяет в плане полемическом по аналогии упомянуть и «общую дисциплину» — науку о фольклоре, в английском понимании фольклора²⁶.

Несмотря на различия высказанных по поводу филологии точек зрения, они не всегда находятся в отношении дизьюнкции. Одной из причин такого положения следует считать неоднозначность использования терминов, служащих для описания предметной области научного исследования. Необходимым же условием четкой постановки проблемы, по-видимому, должно быть определение (уточнение, корректирование) гносеологических категорий, позволяющих выявить

²³ Шухардт Г. О фонетических законах, с. 52.

²⁴ Gräbner F. *Methode der Ethnologie*. Heidelberg, 1911.

²⁵ Pessler W. *Deutsche Ethnographie und ihre Ergebnisse: Deutsche Erde*. Gotha, 1909; Idem. *Deutsche Wortgeographie. — Wörter und Sachen. Kulturhistorische Zeitschrift für Sprach- und Sachforschung*. Heidelberg, 1933, Bd. XV.

²⁶ В его предметную область включаются весьма различные реалии, см.: *Encyclopaedia Britannica*. Chicago etc., 1965, v. 9, p. 518; *World University Encyclopedia*. Unabridged. New-York; Washington, 1969, 6, p. 1924.

специфику филологии, наряду с некоторыми общими закономерностями научного познания.

5. При анализе предметной области филологии, как, впрочем, и любой другой научной дисциплины, при установлении ее места в системе наук необходимо прежде всего четко различать понятия, тесно между собой связанные, но не совпадающие по содержанию потому, что они фиксируют различные уровни теоретического освоения действительности и различные аспекты в отношении субъекта и объекта в этом процессе. Речь идет о понятиях «объект познания» и «предмет познания». «Объектом познания» назовем те объекты действительности или те их стороны, на которые направлен человеческий интерес и которые доступны наличным средствам и методам познания. Под «предметом познания» следует понимать содержание сознания (Гегель), детерминированного как объектом отражения, так и субъектом познавательной деятельности.

6. Текст выступает объектом филологического анализа, что, как убеждены многие филологи, служит основой для выделения филологических наук в особый комплекс с единой предметной областью. «Текст во всей совокупности своих внутренних аспектов и внешних связей — та исходная реальность, которая дана филологии и существенна для нее»²⁷. Но в отличие от других наук (истории, философии и др.), обращающихся к текстам как вспомогательным источникам в поисках научной истины, для филологии многосторонний анализ текста, его истолкование и экспертиза выступают основной задачей и целью познавательной деятельности²⁸. Фердинанд де Соссюр утверждал, что филология «прежде всего ставит себе задачу устанавливать, толковать и комментировать тексты» и что «эта основная задача приводит ее также к занятиям историей литературы, быта, социальных институтов и т. п.», причем филология «всюду... применяет свой собственный метод, метод критики источников»²⁹.

²⁷ Аверинцев С. С. Указ. соч., стлб. 973.

²⁸ Различные истолкования понятия текста советскими филологами представлены в кн.: Лингвистика текста: Материалы научной конференции. М., 1974, ч. 1, ч. 2. Мы склонны присоединиться к тем авторам, кто видит в литературном тексте результат речевой деятельности, представляющий собой упорядоченную замкнутую организацию отобранного языкового материала, в котором овеществляется семантическая структура произведения как социального феномена особого рода.

²⁹ Соссюр Ф. Труды по языкознанию. М., 1977, с. 39.

7. Отмеченная особенность, присущая текстологии, характеризует и все филологические науки, направленные на реконструкцию социального, психологического или какого-либо иного контекста, позволяющего понять происхождение конкретного текста и интерпретировать его содержание. Таким образом, изучение факторов, обусловивших процесс создания и функционирования текстов, а также отбора жизненного материала, языковых средств, из которых создаются «план содержания» и «план речевого выражения», служит конечной цели филологического труда — более глубокому пониманию самого текста, максимально полному воспроизведению и осмыслению содержащейся в нем информации³⁰. Изучение текста в различных аспектах и по столь широкой программе, вероятно, отражает «интеграционные» тенденции в сфере научной деятельности, что, разумеется, не влечет за собой опасности утраты традиционных форм специализации в науке, не лишает разные отрасли научных знаний их относительно автономного бытия. Заметим, кстати, что границы между научными дисциплинами остаются условными так же, как и границы между видами творческой деятельности, формами общественного сознания, например частными науками, философией и искусством. Это отражает генетическое единство и функциональную взаимообусловленность всех сфер духовного производства. Конкретное исследование, если оно вызвано к жизни объективными потребностями и позволяет дать анализ объекта под новым углом зрения, часто не укладывается в рамки готовых форм и методов познания, сложившихся в практике «замкнутого» изучения текста: возникает необходимость выхода за его пределы, подчинения способов и приемов анализа характеру поставленных задач и, что особенно важно, специфике объекта познания.

8. Тексты (художественные и причисляемые к «практическим» видам речевой деятельности) представляют собой особые объекты научного познания. Их допустимо отнести к объектам, «фиксируемым в знаковых формах» (двуединстве

³⁰ В современной зарубежной науке внимание к графической форме манифестации языка вызвало разграничение между графической, эпиграфической лингвистикой, изучающей план выражения, и филологией, на долю которой остается план содержания текстов, их литературоведческое или историческое изучение. См.: *Crossland R. A. Graphic Linguistics and its Terminology*. — *Proceedings of the University of Durham Philosophical Society*, 1957, v. 1, Ser. B (Arts), № 2, p. 13.

означающего и означаемого, если пользоваться семиотической терминологией, употребляемой в науке о языке). Отсюда следует, что они (тексты) «регистрируются определенными рецепторами»³¹. Поэтому объекты филологии вполне реальны в том смысле, что это не мистическая «душа народа», не «национальный дух», как интерпретировался с конца XVIII в. объект филологии с целью обосновать ее единство и целостность, но это феномены, содержащие в себе закрепленную в знаковой форме информацию об истории, культуре, науке, искусстве народа, нации или всего человечества. Анализ текстовых источников, их многостороннее истолкование, постановка в определенный социальный контекст, в культурно-историческую перспективу позволяют филологии проникнуть в закономерности социальных процессов и в сущность философских, нравственных, художественных и иных проблем, вызвавших к жизни конкретные тексты и получивших в них то или иное отражение. Поэтому филология связана с другими гуманитарными науками, причем их эффективность во многом зависит от уровня развития филологического знания, а этот уровень, в свою очередь, определяется степенью зрелости всего комплекса гуманитарных наук. Ряд выдвинутых здесь положений хорошо иллюстрируется многочисленными и подлинно филологическими исследованиями древнерусской литературы, проведенными акад. Д. С. Лихачевым³².

9. В ряду объектов филологии тексты художественной речи занимают не менее заметное место, чем произведения художественной литературы, традиционно используемые как источники истории литературного языка. Не всегда при анализе литературных текстов бывает достаточно ограничиться синтезом науки о языке и литературоведения, называемым «филологией». Многочисленные и разносторонние связи произведения словесного искусства с социально-историческим и культурным контекстом, в который оно «вписывается», а также с общественно-личным бытием автора, с изменяющимися условиями исторической действительности, в которой эстетический объект функционирует, что обуславливает диа-

³¹ Ракитов А. И. Курс лекций по логике науки. М., 1971, с. 43.

³² Об этом см.: Гельгардт Р. Р. Об одном из видов источников истории стилистики художественной речи. — В кн.: Лингвистические аспекты исследования литературно-художественных текстов. Калинин, 1979.

хронические различия его восприятий и интерпретаций³³, все это определяет и предопределяет реальную (актуальную) программу комплексного изучения литературно-художественного текста³⁴. Но проблема отношения эстетического объекта к действительности не связывается с задачей установления его «социологического эквивалента». Так как язык есть не только материал, из которого создается словесное искусство, но и объект, который частично отражается в конкретном тексте, возникает потребность установить, как автор оперирует материалом языка, подчиняясь его диктатуре, и как проявляется авторская инициатива в подборе языковых единиц, в их оформлении и организации речевой цепи. Важно также учесть отражения в художественно-литературных текстах типических примет разных функциональных стилей литературной речи, воздействия стилистики и поэтики определенных школ и направлений, фольклорной стихии и т. д. Художественная литература имеет аналоги и связи с другими видами искусства, поэтому у исследователя литературно-художественного текста могут возникнуть веские основания обратиться к сравнительному искусствоведению, чтобы поставить изучаемый текст в перспективу различных видов «художественного производства».

10. Выявление объектов познания, объединяющих филологические дисциплины, не может служить достаточным основанием для того, чтобы признать филологию самостоятельной наукой, так как оно еще не свидетельствует о единстве предметов различных филологических дисциплин. «Объединение в филологии частей разных наук (языкознания, литературоведения, истории культуры и др.) по признанию тождества носителей разнородных явлений (Бодузен де Куртенэ) не лишает каждую науку, входящую в «филологический комплекс», самостоятельного бытия, но и не создает в отвлечении от данной конкретной задачи научного труда той специфики, какая присуща строго определенной отрасли

³³ Проблема эстетического восприятия (рецепции) станет решенной лишь при объединенных усилиях «эстетиков, физиологов и представителей ряда других отраслей естествознания, а также специалистов в области теории информации и коммуникации, семиотики и кибернетики» (Gesellschaft: Literatur: Lesen: Literaturrezeption in theoretischer Sicht / Von M. Naumann u. a. Berlin: Weimar, 1975).

³⁴ Ср.: Сакулин П. Н. Социологический метод в литературоведении. М., 1925.

научных знаний, в отличие от других форм знания, называемых наукой»³⁵.

Единство объектов познания позволяет признать правомерным использование термина «филология» для обозначения исторически сложившегося комплекса различных гуманитарных наук, изучающих тексты. Такое понимание в принципе совпадает с гегелевской интерпретацией филологии как «простых агрегатов сведений». «Так как науки, — писал Гегель, — включаются в этот агрегат лишь внешним образом, то их единство есть лишь внешнее единство»³⁶. Некритический подход к данному тезису может вызвать недооценку этой мысли Гегеля, представляющейся вполне оправданной применительно к попытке объединить разнокачественные знания лишь на той основе, что они выражают «дух народа» (*Volksgeist*). Но эта идея остается отчасти верной применительно и к современным формам объединения наук по их объектам (в случае с филологией — по ее направленности на анализ текстов). Однако вряд ли гегелевская оценка филологии имеет тот «уничижительный» характер, который в ней усматривает С. С. Аверинцев³⁷. Употребление термина «филология» в указанном выше смысле можно считать столь же оправданным и продуктивным, как и использование аналогичных терминов, обозначающих комплексы наук, которые изучают общие объекты, например: «естествознание», «обществоведение», «искусствоведение» и др. Такое выделение комплексов наук имеет объективные основания (единство целей и объектов). Оно и практически целесообразно, так как позволяет объединить усилия специалистов в разных областях знания при исследовании единых объектов. И лишь в оптимальных случаях филологической работой занимаются ученые, чрезвычайно большая эрудиция которых позволяет им реализовать программу комплексного филологического исследования (Ф. И. Буслаев, А. А. Потебня, Д. Н. Овсянико-Куликовский, Д. С. Лихачев, В. М. Жирмунский и др.).

11. Вопрос о том, можно ли считать филологию самостоятельной наукой, объединяющей разные научные дисциплины, которые имеют не только общий объект, но и сохраняют общность предметов познания, требует более глубокого ана-

³⁵ Гельгардт Р. Р. Пути развития современной филологии. — Филол. науки, 1977, № 1, с. 52.

³⁶ Гегель Г. Энциклопедия философских наук. М., 1975, т. 1, с. 101.

³⁷ Аверинцев С. С. Указ. соч., стлб. 976.

лиза понятия «предмет познания». Для того, чтобы уяснить причину гегелевского противопоставления филологии как «агрегатов знаний или сведений» и философии как целостной науки, имеющей свой особый предмет, следует припомнить гегелевскую интерпретацию предмета познания. Обращение к наследию Гегеля является необходимым звеном в решении проблемы, потому что и в марксистской философии, но уже с материалистических позиций, развивается продуктивная мысль о диалектике становления предмета, понимаемого и в плане содержания знаний, и в плане процесса изменения и углубления этого содержания по мере приближения к сущности конкретного объекта в акте познания (восхождение от абстрактного к конкретному). Гегель в «Энциклопедии философских наук» говорил о том, что в каждой из форм познания выделяется свой особый предмет, отражающий специфику этих форм, и в то же время объективный, так как содержание различных форм остается тем же самым в силу их детерминированности объектом. И действительно, именно реальный объект, ставший объектом познания, определяет содержание наших знаний, которые зависят, однако, и от других факторов — от сложившихся в результате исторической практики форм познания, наличных средств и методов обобщения и систематизации чувственных данных. Как отмечал Гегель, «в любой из этих форм или в смешении нескольких таких форм содержание составляет предмет сознания. Но когда содержание делается предметом сознания, особенности этих форм проникают также и в содержание, так что соответственно каждой из них возникает, по-видимому, особый предмет, и то, что есть в себе одно и то же, может быть рассмотрено как различное содержание»³⁸.

12. Исключительно важным для понимания сущности предмета познания (а следовательно и предмета филологии) является рассмотрение предмета в процессе его развития. В плане онтогенеза речь идет об эволюции содержания конкретного исследования по мере его приближения к сущности объекта; в плане филогенеза — об исторически обусловленных преобразованиях предмета науки, происходящих под влиянием изменяющихся объектов познания и задач, стоящих перед наукой, а также в результате совершенствования методов и категориального аппарата. При таком подходе снимается неразрешимое с метафизических позиций противоре-

³⁸ Гегель Г. Указ. соч., с. 87.

чие между предметом действительности и предметом познания. И хотя идея имманентного развития субстанции предмета у Гегеля, несомненно, восходит к идеалистической концепции, трактующей понятие как абсолютную творческую силу, порождающую все наличное, нельзя не считаться с тем, что он впервые, по словам Энгельса, представил весь естественный, творческий и духовный мир в виде процесса. Анализialectической природы предмета познания позволяет перевести исследование предметной области филологии в плоскость поиска общих методов, средств, форм познания, так как именно они формируют содержание филологических дисциплин.

13. Вопрос о статусе филологии не допускает однозначного решения. Необходим подход к филологии как к исторически формировавшемуся явлению, которое прошло разные этапы в длительном процессе развития. Так, филология в начальном периоде ее становления была относительно целостной, «монолитной» отраслью знания, поскольку ее отличал синcretизм: филологические и исторические дисциплины еще не выделились из слитного «историко-филологического комплекса», т. е. не сформировали своих особых предметов познания. Применительно к этому синкретическому состоянию можно с соответствующими корректировками говорить о едином предмете познания, а следовательно, и об относительно самостоятельном статусе филологии как науки. Однако это единство и «монолитность» филологии не могли оставаться стабильными по мере совершенствования научного познания. Аналогичная ситуация прослеживается и в истории естествознания, а также науки в целом, если иметь в виду раннюю натурфилософию как науку наук. Интенсификация филологических исследований с середины XIX столетия была вызвана общим подъемом естественных и гуманитарных наук, когда наука (а точнее, некоторые ее отрасли) приобретала качественно новые характеристики, став непосредственной производительной силой, воздействующей на экономическую, политическую, духовную жизнь общества. Углубился интерес к истории наук и искусств, к духовной жизни человечества, особенно к истории национальных культур, запечатленной в литературных памятниках. И не случайно вопрос о социальной роли филологии стал предметом острой политической дискуссии, посвященной проблемам социального прогнозирования. Ф. Энгельс (см. раздел III, гл. V «Анти-Дюринга») в полемической форме вскрыл

вает национальную ограниченность представлений Дюринга о филологии, указывает, что в современном мире у филологии есть важная социальная функция, поскольку эта наука, правильно интерпретируемая, дает некоторую возможность стать выше ограниченности национальной точки зрения. Филологические знания, по словам Энгельса, «открывают (по крайней мере для получивших классическое образование людей разных национальностей) общий им, более широкий горизонт»³⁹. Как утверждал Ф. Энгельс, роль филологии еще более возрастет в условиях социалистического общества, когда развитие филологического образования станет общенародной задачей, связанной с воспитанием интернациональных чувств. На прямые связи между филологией и политикой Ф. Энгельс указывал также в статье «Германия и панславизм», где рассматривается использование филологии как средства политической борьбы и где со всей очевидностью выявляется связь философских и политических взглядов с филологической наукой.

15. Новые задачи, вставшие перед филологией еще в прошлом веке, потребовали совершенствования методов исследования. Были созданы новые научные дисциплины, лишь генетически и по объекту познания связанные между собой. Специализация частнонаучных методов и выработка особого категориального аппарата у каждой науки привели к тому, что филология действительно превратилась в «агрегаты сведений». На современном этапе становления «филологического комплекса» дифференциация входящих в него научных дисциплин, объединенных лишь по объекту познания, должна в историческом плане рассматриваться как явление прогрессивное, как симптом поступательного развития науки и духовной деятельности вообще. Так проявляются закономерности, общие для всех сфер духовного производства, пребывающих на достаточно высокой ступени развития. Однако следует особенно подчеркнуть, что указание на «прогрессивный характер» процесса дифференциации, как было отмечено Е. П. Никитиным, будет справедливым только до определенного предела, за которым дифференциация превращается в автономизацию компонентов, когда объект перестает существовать как целостность. «В этих условиях проблема духовного синтеза становится едва ли не самой главной проблемой нынешнего состояния и перспектив раз-

³⁹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 333.

вития духовной жизни человечества»⁴⁰. Решение данной проблемы содействует уяснению и современного статуса филологии, а также дальнейших путей становления «филологического комплекса». Учитывая глубинные изменения, которые происходят в современной филологии, необходимо иметь в виду диалектическую взаимообусловленность противоположных тенденций: взаимное обособление филологических наук совмещается с их сближением, вызванным самой практикой изучения текстов. Программа филологического труда, его «предметно-тематический объем» зависят от формально-речевых и собственно-содержательных характеристик каждого данного текста. Этим же обуславливается и набор материалов, привлекаемых *ad hoc* из разных сфер научных знаний и способствующих анализу средств содержательного выражения и оформленного содержания в их генезисе и детерминированности различными факторами.

16. Здесь было бы уместно затронуть вопрос об иерархических отношениях между научными дисциплинами как компонентами «филологического комплекса», функционирующими в практике анализа текстов разных жанровых форм. Быть может, эти иерархические отношения уясняются даже из последовательности действий филолога, идущего к раскрытию широко трактуемого плана содержания от его выражения «в материи и формах языка». Но особенно важно в данном случае учесть другое: поскольку с помощью языка осуществляется познание мира, лингвистика играет исключительно большую роль в объединении научных дисциплин, нацеленном на раскрытии существенных характеристик тех реалий, которые называются текстами. Познавательная роль лингвистических исследований в их отношениях к «смежным наукам» была определена Э. Бенвенистом. Он писал: «Углубляясь в природу языка, вскрывая его связи как с мышлением, так и с поведением человека и основами культуры...» лингвистические исследования «начинают проливать свет на глубинное функционирование сознания в разнообразных мыслительных операциях. Смежные науки следуют за этими успехами лингвистики, в свою очередь содействуют им, используя лингвистические методы, а зачастую и лингвистическую терминологию. Все это позволяет предвидеть, что такие параллельные исследования

⁴⁰ Никитин Е. П. О природе обоснования. — Вопросы философии, 1979, № 10, с. 47.

породят новые дисциплины и будут сообща способствовать развитию подлинной науки о культуре, которая заложит фундамент теории символической деятельности человека»⁴¹.

17. Комплексное изучение текстов как сложных продуктов духовной деятельности обеспечивает наиболее глубокое проникновение в их диалектическую природу. Взаимодействие наук филологического цикла и их контакты с другими гуманитарными дисциплинами реализуются не только путем организаторской деятельности — установлением связи между исследовательскими коллективами и отдельными специалистами, работающими в разных областях знаний (социальный аспект) — но и в опытах конкретных исследований, преодолевающих ограниченность частнонаучных методов (методологический аспект). Становление современной филологии, процесс интеграции разных гуманитарных наук, тенденция к формированию общих методов и единого предмета познания демонстрируются в трудах выдающихся ученых-филологов.

А. И. ГОРШКОВ
(Университет дружбы народов
им. П. Лумумбы)

УРОВНИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА И ФИЛОЛОГИЯ

На материале русского языка

Как известно, объектом филологических исследований являются тексты (обычно письменные). Филологический анализ имеет целью раскрытие истории и сущности духовной культуры народа, отраженной в созданных им памятниках. Текст — явление многогранное как с точки зрения его внутренних свойств, так и с точки зрения его внешних связей. Поэтому развитие филологии привело к постепенному ее разветвлению на ряд самостоятельных дисциплин (языкоизнание, литературоведение, текстология, источниковедение и др.). В наши дни единство филологии проявляется скорее как некий общий принцип подхода к текстам, чем как реальное единство различных аспектов конкретных филологических разысканий.

⁴¹ Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974, с. 32.

Хотя иногда филология и определяется как «гуманитарная дисциплина, изучающая письменные тексты и на основе их содержательного, языкового и стилистического анализа — историю и сущность духовной культуры данного общества»¹, однако большинство энциклопедических и лингвистических словарей указывает, что филология — «совокупность методов и приемов исследования памятников письменности с точки зрения языка, стиля, исторической и этнической принадлежности»², «совокупность наук, изучающих культуру народа, выраженную в языке и литературном творчестве»³, «общее название дисциплин, изучающих язык, литературу и культуру данного народа преимущественно через посредство литературных и других культурно-исторических сочинений и памятников»⁴, «содружество гуманитарных дисциплин, изучающих историю и выясняющих сущность духовной культуры человечества через языковой и стилистический анализ письменных текстов»⁵.

Можно сказать, что на смену науке филологии пришли филологические науки: есть журнал «Филологические науки», присуждаются ученые степени кандидата и доктора филологических наук, существуют филологические факультеты в университетах и педагогических институтах. Однако по многим своим аспектам две главные филологические науки — языкоzнание и литературоведение — разошлись весьма далеко. А в некоторых «пограничных зонах» (язык художественной литературы, стилистика, теория и история литературного языка) между языковедами и литературоведами нередко возникает неоправданная конфронтация. Одна из причин этого явления — представление литературоведов о языкоzнании как о науке «формальной», которая копается в «мелочишке суффиксов и флексий». Представление, конечно, совершенно ошибочное, но надо признать, что сами языковеды много способствовали и способствуют формированию узкого и одностороннего взгляда на свою науку. Забываются

¹ Советский энциклопедический словарь. М., 1979.

² Большая советская энциклопедия. М., 1957, т. 45.

³ Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. М.; 1940, т. IV. См. также: Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1975; Словарь русского языка: В 4-х т. М., 1961, т. IV; Словарь современного русского литературного языка. М.; Л., 1964, т. 16.

⁴ Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966.

⁵ Краткая литературная энциклопедия. М., 1972, т. 7. См. также: Русский язык: Энциклопедия. М., 1979.

(или остаются вне поля зрения многих лингвистов) очевидные положения, ясно и просто сформулированные в свое время отечественными учеными.

Сорок лет назад Г. О. Винокур писал: «Наряду с проблемой языкового строя существует еще проблема языкового употребления, а так как язык вообще есть только тогда, когда он употребляется, то в реальной действительности строй языка обнаруживается только в тех или иных формах его употребления»⁶. Вряд ли кто будет открыто спорить с тем, что есть проблема языкового употребления и что строй языка обнаруживается в тех или иных формах его употребления. Однако очевидный факт реальности языка сплошь и рядом отвергается прямо («язык представляет систему абстрактных сущностей»⁷) или косвенно («язык — это совокупность и система знаковых единиц общения в отвлечении от языкового материала, в их коммуникативной готовности; это знаковый механизм общения»). В последнем случае реальность бытия закрепляется за «речью»: «речь — это последовательность (взятых из языка) знаковых единиц общения в конкретном языковом материале в их коммуникативном применении»⁸.

Как известно, популярное в современной лингвистике противопоставление «языка» и «речи» в различных направлениях языкоznания понимается отнюдь не однозначно, как не однозначно трактуются и сами понятия «язык» и «речь». Однако при всех различиях в интерпретации этих явлений заметна общая тенденция к распределению и квалификации всех лингвистических понятий и категорий по рубрикам «языковое» или «речевое». Тем самым дихотомия «язык — речь» превращается в некий всеохватывающий, универсальный и обязательный постулат лингвистических исследований. При этом неизбежно возникает двойственность в значении термина *язык*: с одной стороны, это некое «единство двух его коммуникативных состояний (язык и речь)»⁹, с другой — это один из членов оппозиции «язык — речь». В нашей статье не обсуждается вопрос о правомерности или неправомерности такой лингвистической позиции (это пред-

⁶ Винокур Г. О. Избранные работы по русскому языку. М., 1959, с. 221.

⁷ Звегинцев В. А. Язык и лингвистическая теория. М., 1973, с. 15.

⁸ Березин Ф. М., Головин Б. Н. Общее языкоzнание. М., 1979, с. 21.

⁹ Там же, с. 25.

мет особого разговора), но предлагаются соображения, не опирающиеся на разграничение «языка» и «речи».

Мы используем только термин *язык* (разумеется, термин *речь* сохраняется в цитатах и устойчивых выражениях типа «культура речи») как обобщенное наименование того сложного и многоаспектного общественного явления, которое классики марксизма-ленинизма определили как «важнейшее средство человеческого общения»¹⁰ и «практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого, действительное сознание»¹¹. При этом мы исходим из того, что языкознание может рассматривать язык со стороны его строя и со стороны его употребления.

Ни у кого не может вызвать сомнения тот факт, что как объект непосредственного наблюдения язык представлен в текстах — письменных и устных. Иными словами, именно тексты, данные как объективно существующая реальность, являются единственным источником всех лингвистических наблюдений и обобщений.

Когда речь идет о текстах, естественно, может возникнуть вопрос: что такое текст? Думается, что в данном случае дефиниции не обязательны (тем более, что их существует уже около двухсот пятидесяти) и достаточно ссылки на авторитетное высказывание Л. В. Щербы, которое важно для нас не только с точки зрения трактовки понятия текста, но и с точки зрения понимания некоторых явлений, о которых пойдет речь ниже: «...все языковые величины, с которыми мы оперируем в словаре и грамматике, будучи концептами, в непосредственном опыте (ни в психологическом, ни в физиологическом) нам вовсе не даны, а могут выводиться нами лишь из процессов говорения и понимания, которые я называю в такой их функции «языковым материалом»... Под этим последним я понимаю, следовательно, не деятельность отдельных индивидов, а совокупность всего говоримого и понимаемого в определенной конкретной обстановке в ту или другую эпоху жизни данной общественной группы. На языке лингвистов это «тексты»...»¹².

Исходя из положения, что язык как объект непосредственного наблюдения представлен в текстах, можно наметить

¹⁰ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 25, с. 258.

¹¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 3, с. 29.

¹² Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974, с. 26.

три уровня лингвистических исследований: уровень языковых единиц, уровень текста и уровень языка как системы подсистем. Первый из этих уровней находится в сфере языкового строя, два других — в сфере языкового употребления.

При изучении строя языка тексты выступают как «языковой материал», от которого абстрагируются, или, по выражению Л. В. Щербы, из которого «выводятся» языковые единицы — фонемы, морфемы, слова, предложения, выступающие в качестве объекта исследования. При этом языковые единицы распределяются по соответствующим «ярусам» и рассматриваются в их внутренних взаимоотношениях в пределах каждого «яруса»: в фонологии изучаются взаимоотношения фонем, в лексикологии — слов и т. д. Таким образом описываются «фонологическая система», «лексическая система» и другие «системы», т. е. «системы» единиц, располагающихся на одном каком-либо «ярусе». Это — *уровень языковых единиц*.

При изучении употребления языка отношения между языковыми единицами и текстами рассматриваются в ином плане. Тексты выступают не как «языковой материал», из которого «выводятся» языковые единицы, а как самостоятельный объект исследования. В этом плане текст рассматривается как феномен языкового употребления, т. е. феномен языковой реальности, данный нам в непосредственном опыте. Этот феномен представляет собой определенным образом организованную последовательность языковых единиц разных «ярусов». Иными словами, текст рассматривается в аспекте «соединения отдельных членов языковой структуры в одно и качественно новое целое»¹³. Это — *уровень текста*.

Исследование на этом уровне не сводится к лингвистическому анализу только какого-либо конкретного текста. На основе изучения конкретных текстов могут быть обобщены лингвистические свойства определенных групп текстов, т. е. установлена их типология. Группы текстов могут быть типизированы по различным признакам и на основе различных принципов. Например, можно обобщить лингвистические свойства всех текстов Пушкина и говорить о «языке Пушкина», можно обобщить все лингвистические свойства публицистических текстов и говорить о «публицистическом стиле», можно обобщить лингвистические свойства всех художественных текстов и говорить о «языке художественной

¹³ Винокур Г. О. Указ. соч., с. 224.

литературы», можно обобщить лингвистические свойства всех газетных текстов и говорить о «языке газеты», обобщив лингвистические свойства лирических стихотворений, можно говорить о «языке лирической поэзии» и т. д. Таким образом, на основе типологии текстов могут быть выявлены и описаны социально и функционально распределенные разновидности (подсистемы, формы существования, стили) языка, а также разновидности языка такого порядка, как индивидуальные стили, жанровые стили и т. п. Переходя от рассмотрения тех или иных разновидностей языка, выявленных на основе типологии текстов, к рассмотрению системы этих разновидностей, лингвистическое исследование выходит на уровень языка как системы подсистем.

Если на уровне текста непосредственным объектом исследования выступает текст, а в качестве его компонентов рассматриваются языковые единицы, то на уровне языка как системы подсистем непосредственным объектом исследования выступает язык как система, в качестве компонентов которой рассматриваются разновидности (подсистемы, формы существования, стили) языка. В собственно-лингвистическом плане эти разновидности представляют собой не что иное, как совокупность текстов, характеризующихся однотипной организацией и — в меньшей степени — однотипным отбором языковых единиц.

Развитие языкоznания постепенно привело к тому, что на определенном этапе для одного из аспектов лингвистических исследований тексты оказались лишь «языковым материалом» и перестали быть непосредственным объектом изучения. В дальнейшем внимание лингвистов сосредоточилось преимущественно именно на «выведенных» из текста «концептах», в результате чего языкоznание в значительной степени утратило и утрачивает свою филологическую сущность. Отсюда и представление о языке как системе абстракций. Но ведь язык — не в словарях и грамматиках, язык — в текстах, в объективной реальности употребления. Языкоznание не ограничено (как кажется многим) уровнем языковых единиц, оно «работает» (может, должно «работать») также на уровнях текста и языка как системы подсистем. На этих уровнях филологическая природа языковедческой науки выступает со всей очевидностью, но, к сожалению, эти уровни не привлекают к себе пристального внимания и даже не осознаются с достаточной ясностью. Такое положение

жение ведет к неоправданному сужению границ языко-
знания.

Уровень языковых единиц — наиболее традиционный и распространенный, можно сказать, господствующий уровень лингвистических исследований. На этом уровне строятся как обобщающие работы, так и частные разыскания по фонологии, лексикологии, словообразованию, морфологии, синтаксису. На этом уровне строятся и такие традиционные вузовские курсы, как «Современный русский литературный язык», «Дialectология», «Старославянский язык», «Историческая грамматика». Даже курсы «Введение в языкоизнание» и «Общее языкоизнание» ориентированы на уровень языковых единиц.

Лингвистические исследования на уровне текста постепенно утратили некогда богатые традиции и в наши дни не имеют столь подробно разработанных приемов и столь разнообразных направлений, как исследования на уровне языковых единиц. Хотя несомненно, что именно на уровне текста должны разрабатываться (полностью или частично) наука о языке художественной литературы, теория и история литературных языков, стилистика, культура речи.

Особо следует сказать о так называемой «лингвистике текста». Эта довольно активно развивающаяся в последние годы отрасль языкоизнания пока сосредоточивает внимание преимущественно на поисках формального выражения связей между соседними предложениями в тексте. Такого рода исследования, строго говоря, нельзя считать исследованиями на уровне текста, так как текст рассматривается здесь не как феномен употребления языка, представляющий собой организованную последовательность разнорядковых языковых единиц, а скорее как языковая единица «гиперсинтаксического» порядка. Парадоксально, но отрасль языкоизнания, претендующая на исследование текста, игнорирует языковую природу этого феномена и стремится подойти к нему с уровня языковых единиц. Показательно в этом смысле такое высказывание одного из пропагандистов «лингвистики текста»: «Чтобы текстовая проблематика была осознана как собственно языковедческая, нужно было прийти к ней «снизу», от предложения, найдя среди традиционных языковедческих проблем такие, разрешение которых невозможно без выхода за пределы предложения»¹⁴. Нетрудно

¹⁴ Гиндин С. И. Советская лингвистика текста: Некоторые проблемы и результаты (1948—1975). — Изв. АН СССР. Сер. литературы и языка, 1977, № 4, с. 348.

увидеть, что «собственно языковедческая проблематика» понимается здесь как проблематика уровня языковых единиц.

Искусственно суживаются объем и содержание «собственно лингвистики», или «интраплингвистики», в некоторых социолингвистических работах. К компетенции «интраплингвистики» относится только уровень языковых единиц, все остальное, таким образом, оказывается в ведении социолингвистики¹⁵. Подход к исследованию языка с позиций только «интраплингвистики» или только социолингвистики ограничивает возможности познания языка. Все три уровня лингвистических исследований тесно связаны, они представляют собой три аспекта изучения одного предмета (языка) одной наукой (языкознанием). Изучение языковых единиц не может выдаваться за изучение языка. Соответственно лингвистическое изучение текста и языка как системы подсистем не может рассматриваться как лежащее за пределами «собственно языкознания». Ф. П. Филин справедливо подчеркивает: «Нельзя себе представлять, что язык как структура — это одно, а его использование в обществе — это совсем другое»¹⁶. Отсюда вытекает, что «различие между «внутренней» и «внешней» лингвистикой условно»¹⁷.

Нельзя не заметить, что специфика перечисленных выше отраслей языкознания и соответствующих учебных дисциплин до сих пор осознана еще недостаточно четко. Объясняется это многими причинами, в частности, тем, что не всегда различаются вопросы употребления языка и вопросы употребления языковых единиц: отсюда неразличение уровней исследования, постоянные (и часто неосознанные) переходы с уровня текста на уровень языковых единиц. В этой связи важно подчеркнуть, что если на материале какого-либо текста или группы текстов рассматриваются однопорядковые языковые единицы (т. е. единицы одного какого-либо «яруса»), например, имена прилагательные в произведениях А. П. Сумарокова или неполные предложения в прозе И. А. Крылова, то это, конечно, исследование на уровне языковых единиц, а не текста. Указание на определенные тексты в подобных случаях может означать только

¹⁵ См., например: Никольский Л. Б. О предмете социолингвистики. — ВЯ, 1974, № 1, с. 64.

¹⁶ Филин Ф. П. К проблеме социальной обусловленности языка. — В кн.: Язык и общество. М., 1968. с. 14.

¹⁷ Там же, с. 20.

ограничение «языкового материала», из которого «выводятся» соответствующие языковые единицы. Даже если ставится вопрос о так называемых «стилистических функциях» тех или иных языковых единиц в том или ином тексте (или в ряде текстов), это не переводит исследования с уровня языковых единиц на уровень текста, на котором, как уже говорилось, рассматривается последовательность языковых единиц разных «ярусов» как «одно и качественно новое целое».

Неразличение уровня языковых единиц и уровня текста, связанное с неразличением строя и употребления языка, ведет к неправильному представлению о характере исследований на уровне текста. Существует мнение, будто лингвистическая характеристика текста состоит в последовательном описании его фонетики, морфологии, синтаксиса, лексики. Между тем в этом случае мы получаем лишь последовательное описание языковых единиц на «языковом материале» того или иного текста или ряда текстов, но не лингвистический анализ текста.

Лингвистическое исследование текста имеет целью выявление специфических языковых качеств, «параметров», свойственных именно тексту как феномену языкового употребления. Надо признать, что сделано в этом направлении относительно немного. Поэтому очень актуальной задачей является установление «реестра» свойств, качеств, «параметров» текста как самостоятельного объекта лингвистического исследования. Но это — предмет особого разговора.

Лингвистические исследования на уровне языка как системы подсистем тесно связаны с исследованиями на уровне текста. Большинство отраслей языкоznания и учебных дисциплин, призванных рассматривать язык на уровне текста, могут и должны рассматривать его и на уровне системы подсистем.

Стилистика, когда она изучает и описывает лингвистические свойства отдельных стилей, по существу должна выступать как комплекс исследований на уровне текста. Когда же она обращается к изучению системы стилей, она тем самым переходит на уровень исследования языка как системы подсистем. История литературного языка, понимаемая как историческая стилистика, должна рассматривать литературный язык в его развитии на уровнях текста и языка как системы подсистем. Наука о языке художественной литературы, поскольку она не замыкается в пределах только

художественных текстов, но рассматривает и вопросы соотнесенности текстов художественных и «нехудожественных», тем самым также выходит в область исследований на уровне языка как системы подсистем.

Стилистика, история литературного языка и наука о языке художественной литературы, рассматривая язык на уровнях текста и системы подсистем, оперируют языковыми единицами только как компонентами текста. В этом своем качестве языковые единицы не являются самостоятельным объектом исследования указанных отраслей языкоznания. Однако языковые единицы могут быть «выведены» из текстов не как элементы фонологической, лексической и других систем языка, а именно как типичные компоненты того или иного ряда текстов и сгруппированы по их так называемой «стилистической окраске». (Вопрос о том, что «стилистические пометы» современных толковых словарей не только не совпадают, но часто даже и не соотносятся со стилевой дифференциацией современного русского языка, прямого отношения к теме нашей статьи не имеет, и мы его рассматривать не будем). Изучение языковых единиц в аспекте их «стилистической окраски» вне языковой реальности, представленной в текстах, очень условно и приводит к весьма зыбким обобщениям. Тем не менее оно очень распространено и образует область исследований, которую можно назвать «стилистикой языковых единиц». По отношению к «действительной стилистике», которую можно представить как единство двух стилистик — стилистики текста и стилистики языка как системы подсистем, — стилистика языковых единиц играет подчиненную, служебную роль. Но это, так сказать, в идеале. Реально же стилистика, несмотря на то, что ее специфика была предельно ясно определена еще Г. О. Винокуром¹⁸, представляет собой область довольно разнородных наблюдений и часто противоречивых обобщений.

Пока нет полной ясности и в той области лингвистических разысканий, которая называется культурой речи. Эта отрасль языкоznания охватывает все три уровня исследования языка: уровень языковых единиц, уровень текста и уровень языка как системы подсистем. Однако это обстоятельство в трудах по культуре речи обычно не фиксируется. В то же время нельзя не обратить внимания на то, что ког-

¹⁸ Винокур Г. О. Указ. соч., с. 223—224.

да говорится, например, об «ортологии» как понятии узком, а о «культуре речи» как о понятии широком, то фактически речь идет об исследованиях на уровне языковых единиц («ортология») и об исследованиях не только на уровне языковых единиц, но и на уровнях текста (требования к качествам «хорошой речи») и языка как системы подсистем (выбор уместного в данной ситуации общения типа текста).

Для построения теоретических обобщений и практических рекомендаций по культуре речи очень важно иметь в виду, что одно из главнейших понятий этой области языкоznания — понятие языковой нормы — также может рассматриваться на трех уровнях: языковых единиц, текста и языка как системы подсистем.

В практике составления разного рода нормативных словарей и справочников языковая норма трактуется обычно как явление уровня языковых единиц, и вопрос о норме на уровнях текста и языка как системы подсистем даже не ставится. Между тем трудно сомневаться в том, что языковые нормы охватывают не только отдельные языковые единицы, но и закономерности организации этих единиц в пределах текста и закономерности организации разновидностей языка в систему подсистем.

Призывы некоторых нормативистов передвинуть нижнюю границу современного русского литературного языка с эпохи Пушкина на конец 30-х — начало 40-х годов нашего века и при этом «освободиться от «гипноза» языка классической литературы XIX века»¹⁹ полностью игнорируют проблему нормы на уровнях текста и языка как системы подсистем. А ведь языковая реформа Пушкина была осуществлена именно на этих уровнях, а не на уровне языковых единиц, что было убедительно показано в трудах В. В. Виноградова²⁰. Следует также добавить, что, рассматривая вопрос о начале современного этапа в истории русского литературного языка, нельзя принимать во внимание только период от Пушкина до наших дней (при таком подходе Пушкина при желании можно представить «архаичным»), но следует охватить всю историю нашего литературного языка от XI в.

¹⁹ Горбачевич К. С. Изменение норм русского литературного языка. Л., 1971, с. 40.

²⁰ Подробнее об этом см.: Горшков А. И. О становлении норм современного русского литературного языка на уровне текста. — Славистична ревия. Любляна, 1977, № 4.

Тогда пушкинская языковая реформа предстанет во всей своей значимости.

История русского литературного языка имеет более выраженный филологический характер, чем все другие разделы русского языкоznания. Эта дисциплина, представляющая собой историческую стилистику русского литературного языка²¹, призвана сыграть большую роль в изучении и раскрытии духовной культуры русского народа. Определяя место языкоznания в филологии как совокупности (или «энциклопедии») наук, посвященных изучению истории культуры в ее словесном выражении, Г. О. Винокур писал: «Лингвистика, именно изучение отдельного языка в его истории, есть первооснова филологической энциклопедии, ее первая глава, без которой не могут быть написаны остальные. Звеном, непосредственно соединяющим историю языка с историей прочих областей культуры, естественно служит лингвистическая стилистика, так как ее предмет создается в результате того, что язык как факт культуры не только служит общению, но и известным образом переживается и осмысливается культурным сознанием»²². В. В. Виноградов видел в истории литературных языков «новый синтез на основе философии марксизма-ленинизма таких областей общественных наук, как история, языкоznание и литературоведение»²³.

В области истории русского литературного языка благодаря трудам В. В. Виноградова, Г. О. Винокура, Б. А. Ларина, А. И. Ефимова и их учеников были достигнуты значительные успехи, в результате которых эта отрасль русского языкоznания закрепилась как учебная дисциплина в системе филологического образования: был создан ряд учебных пособий по истории русского литературного языка. Однако в дальнейшем развитие этой важной области лингвистических исследований затормозилось. Выяснение причин этого явления не входит в нашу задачу. Заметим только, что здесь, несомненно, сказалось неразличение уровней исследования языка, породившее попытки решать филологические задачи на уровне языковых единиц, тогда как история русского литературного языка должна «работать» на уровнях текста и языка как системы подсистем²⁴.

²¹ Винокур Г. О. Указ. соч., с. 233.

²² Там же, с. 226.

²³ Виноградов В. В. Проблемы литературных языков и закономерностей их образования и развития. М., 1967, с. 130.

²⁴ См.: Горшков А. И. О предмете истории русского литературного языка. — ВЯ, 1978, № 6.

То обстоятельство, что «история русского литературного языка» отличается от «истории русского языка» преимущественно не «языковым материалом» (литературный язык — «нелитературный» язык), но принципами исследования языка (историческая стилистика — историческая фонетика, лексикология и грамматика), с самого начала параллельной разработки этих двух аспектов исторического изучения русского языка было осознано недостаточно ясно и глубоко. Некоторые языковеды пришли в историю русского литературного языка с фактами и приемами исторической лексикологии, фонетики и грамматики. Многие принципиально важные вопросы истории русского литературного языка были поставлены не на уровнях текста и языка как системы подсистем, а на уровне языковых единиц.

К числу таких вопросов относится проблема происхождения (основы, истоков, начала) русского литературного языка. Само его возникновение оказалось обусловленным присутствием в русском литературном языке древнего и последующих периодов некоторого количества языковых единиц, которые по формальным признакам могут быть квалифицированы как старославянские (церковнославянские, древнеболгарские). Те ученые, которым кажется, что таких единиц много, объявляют русский литературный язык по происхождению старославянским (древнеболгарским). Другие, считающие, что таких единиц не так уж много или что они позднего происхождения, утверждают исконно русскую основу нашего литературного языка. При этом и те и другие оперируют одними и теми же историческими и лингвистическими фактами. В 1946 г. вышла известная книга С. П. Обнорского «Очерки по истории русского литературного языка старшего периода», в которой были доскональнейшим образом исследованы четыре важнейших древнерусских письменных памятника специально с целью решения вопроса об «основе» русского литературного языка. Казалось бы, после предъявления научной общественности столь богатого фактического материала всем спорам должен был прийти конец и положение об исконно русской основе русского литературного языка должно утвердиться окончательно. Однако этого не произошло. Книга С. П. Обнорского не укрепила позиции его сторонников и не переубедила противников. Объяснение этому можно увидеть в том, что ученый не принял лингвистического анализа древнерусских текстов, а предложил лишь описания «выведенных» из текстов языко-

вых единиц фонетического, морфологического, синтаксического и лексического ярусов. Возросло количество привлекаемого фактического материала, но сама постановка вопроса не была поднята на новую качественную ступень. Споры продолжаются, и их решения можно ожидать только на филологическом пути, т. е. на пути перехода лингвистических разысканий с уровня языковых единиц на уровне текста и языка как системы подсистем. Надо полагать, что на этом пути не потребуется слишком много времени и усилий, чтобы убедительно показать национальную самобытность русского литературного языка от XI в. до наших дней и опровергнуть рассуждения о его древнеболгарской или какой-либо иной иноязычной «основе».

Действительно существующий литературный язык каждой определенной эпохи предстает перед исследователем в литературных текстах во всей своей сложности, противоречивости. Научное обобщение отбрасывает все случайное, несущественное и выдвигает на первый план типичное, существенное. Но о подлинном научном обобщении можно говорить только тогда, когда оно адекватно своему объекту (в данном случае — русскому литературному языку). Далеко не все высказанные и высказываемые по поводу истории русского литературного языка суждения отвечают этому требованию. «Главной и единственной серьезной проблемой русского литературного языка, в его прошлом и настоящем, является соотношение в нем русской и церковнославянской стихий», — писал Б. Унбегаун²⁵. Тезис ложный, не только недопустимо упрощающий, но и искажающий действительное положение вещей. Изучение русского литературного языка в его реальном функционировании и развитии показывает, что еще в донациональную эпоху имели место интереснейшие и важнейшие явления, стоявшие за пределами соотношения «русской и церковнославянской стихий». Достаточно сравнить хотя бы язык статейных списков русских послов и, скажем, «Поэтической повести об Азове», чтобы увидеть, сколь существенные различия имели место в пределах «русской стихии» литературного языка. Да и в пределах книжно-славянского типа русского литературного языка на протяжении всей его истории имели место существенно отлич-

²⁵ Унбегаун Б. Русский литературный язык: Проблемы и задачи его изучения. — В кн.: Поэтика и стилистика русской литературы. Л., 1971, с. 329.

ные манеры построения текста (например, в писаниях «заволжских старцев», с одной стороны, и «ионосифлян», с другой). Игнорировать такого рода различия — значит игнорировать, в частности, истоки возникновения двух типов текста — «эмоционально-риторического» («экстенсивного») и «интеллектуально-логического» («интенсивного»), — борьба между которыми лежала в основе всего процесса развития русского литературного языка в предпушкинскую эпоху и различия между которыми явно не могут быть сведены к «соотношению русской и церковнославянской стихий», потому что эти различия имеют функциональный, а не генетический характер. А в послепушкинскую эпоху проблема «руссизмов» и «славянизмов» вообще перестает быть проблемой функционирования русского литературного языка и продолжает существовать лишь как один из вопросов исторической лексикологии.

Исключительное внимание только лишь к «руссизмам» и «славянизмам» (а позже и к «галлицизмам») препятствует всестороннему раскрытию истории русского литературного языка и подходу к его употреблению в литературных текстах с позиций реальности, а не с позиций заранее заданной схемы. Абсолютизация историко-этнического соотношения русской и старославянской стихий тормозит изучение функциональных различий в употреблении русского языка, которые, очевидно, возникли гораздо ранее, чем это принято считать (т. е. еще в допушкинский период)²⁶.

Подключение к проблеме «русской и церковнославянской стихий» еще и проблемы «французской стихии» может совершенно затемнить действительную картину развития русского литературного языка в конце XVIII — начале XIX в., особенно если «выводы» делаются не на основе изучения наиболее важных литературных текстов эпохи, а на основе хотя и скрупулезного, но не всестороннего штудирования дискуссий «о языке и слоге» и высказываний отдельных литераторов. В одной из работ по интересующему нас вопросу можно прочесть следующее: «Языковое своеобразие зрелого Пушкина с известным огрублением может быть выражено формулой: галло-русский субстрат + славяно-русский суперстрат. Эта формула, думается, и определяет вообще после-

²⁶ Подробнее об этом см.: Горшков А. И. Язык предпушкинской прозы. М., 1981.

дующее развитие русского литературного языка»²⁷. Несомненно, что «эта формула» не может быть воспринята не только как что-либо «определяющая», но и как что-либо реальное обозначающая. Однако сам по себе печальный факт ее появления симптоматичен. Он показывает, насколько формализовано, выхолощено и в итоге исажено может быть понимание сущности литературного языка как явления национальной культуры. Опорой такого рода софистики служит толкование языка как системы абстрактных сущностей и соответственно понимание языкоznания как науки, изучающей эти абстракции. При такой интерпретации языка и языкоznания все формулировки о языке и культуре, об общественной обусловленности языка и т. п. лишаются филологического содержания и остаются только декларациями.

Сказанное не означает, конечно, что само по себе изучение структуры языка в отвлечении от текстов (т. е. изучение языка на уровне языковых единиц) неправомерно. Оно, как уже говорилось, представляет собой наиболее традиционный, но далеко еще не исчерпанный аспект языкоznания. Важно другое. Важно, что уровень языковых единиц — отнюдь не единственный уровень исследования языка. Неправомерно отождествлять изучение языковых единиц с изучением языка в многообразных формах его употребления. Неправомерно на основе изучения языковых единиц делать выводы, которые могут быть сделаны лишь в результате разысканий на двух других уровнях. Не пора ли активизировать лингвистические исследования на уровнях текста и языка как системы подсистем? Не пора ли вспомнить, что родившееся из филологии языкоznание «есть первооснова филологической энциклопедии, ее первая глава, без которой не могут быть написаны остальные»? (Г. О. Винокур).

²⁷ Лотман Ю., Успенский Б. Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры («Происшествие в царстве теней, или судьбина русского языка» — неизвестное сочинение Семена Боброва). — В кн.: Труды по русской и славянской филологии: Литературоведение. Тарту, 1975, XXIV, с. 254.

ИСТОРИЯ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА И ФИЛОЛОГИЯ

1. Филология как едва ли не самая древняя из гуманистических наук зародилась в далекой античной эпохе. Но возникнув, по словам Л. В. Щербы, «на заре человеческой культуры»¹, филология сохранила свою значимость и в наше время, естественно в преображенном виде, обогащенная содержательно и функционально².

2. Обращенная первоначально к древним текстам, к древним языкам, к комментированию прежде всего греческих и латинских текстов, а также древних и старинных памятников национальной письменности с целью их максимального понимания, максимального приближения читателя к адекватной рецепции их фактологической, содержательной и идейно-эстетической стороны, филология разрослась в комплексную науку. Она объединяет научные занятия языком, литературой, историей, сначала античного мира, а затем определенного народа или народов известного региона. Так сложились частные, региональные «филологии», которые заключают в себе все принципиальные, «родовые» черты общей филологической науки.

Характеризуя состояние «славянской филологии» начала XX в., А. Мазон писал: «К тому времени, когда я кончал университет, т. е. в 1905 г., область наших занятий называлась «славянская филология» и не имела другого названия. Но это название было удивительно гибким: оно охватывало много различных предметов и давало им возможность сосуществовать, не противореча один другому, и в этом его преимущество. Лингвистика и практическое изучение грамматики, филологическое изучение памятников в широ-

¹ Щерба Л. В. Избранные работы по языкоznанию и фонетике. Л., 1958, т. 1, с. 26.

² О значении филологии для современной эпохи из новейших работ см.: Будагов Р. А. Несколько замечаний в защиту филологии как комплексной науки. — В кн.: Сборник докладов и сообщений Лингвистического общества. Калинин, 1974, т. IV; он же. О некоторых общих проблемах филологии. — Филол. науки, 1976, № 1; он же. Борьба идей и направлений в языкоznании нашего времени. М., 1978 (ср.: Аверинцев С. Филология. — БСЭ. 3-е изд. и Краткая литературная энциклопедия; он же. Похвальное слово филологии. — Юность, 1969, № 1).

ком культурном контексте, критика и история литературы, сравнительное литературоведение, история идей и история религии, краткая история славянских стран, история их культурных сношений с другими странами, фольклор и этнография, даже археология и история искусства — среди всех этих разнообразных отраслей знания, как и среди других отраслей знания, включенных в понятия «культура», «цивилизация», не было ни одной, которая не была связана со словом «филология...» «Славянская филология», воспринимаемая таким образом, требовала, на мой взгляд, — продолжает А. Мазон, — от своих служителей глубокого, широкого знания славянского мира вообще — т. е. языков, литературы и истории, а точнее — различных видов истории во всем ее разнообразии»³.

3. В соответствии с требованиями такой комплексной науки сложился и особый тип исследователя, профессионально компетентного в научной проблематике как лингвистики, так и литературоведения, хорошо осведомленного в гражданской истории и истории общественной мысли, истории культуры изучаемого им народа, изучаемой им эпохи, а также достаточно подготовленного в области таких «сопутствующих» дисциплин, как палеография, эпиграфика, текстология, археология, этнография, теология и т. д.

В связи с такими требованиями к ученому-филологу весьма симптоматичной представляется характеристика, которую С. П. Обнорский дал И. И. Срезневскому: «Срезневский был чрезвычайно разносторонним по научным своим интересам. Он не был славистом, он не был и русистом, он не был специалистом языковедом или литературоведом, — он был филологом в самом широком смысле. Срезневский был крупнейшим знатоком прошлого и славянских наречий и русского языка, палеографом, этнографом и т. д. Поэтому результаты деятельности Срезневского велики в разработке собственно русского языка, но настолько же велики они в изучении всей славяноведческой науки»⁴.

Эта замечательная традиция отечественной филологической науки, завещанная Ломоносовым, представленная в прошлом такими учеными, как Ф. И. Буслаев, А. А. По-

³ Мазон А. Лингвистика, филология, история. — В кн.: Проблемы современной филологии. М., 1965, с. 423.

⁴ Обнорский С. П. Итоги научного изучения русского языка. — Уч. зап. / МГУ, 1946, т. III, вып. 106, кн. I, с. 8.

тебня, А. А. Шахматов, Д. Н. Овсянико-Куликовский, Ф. Е. Корш, продолжена Н. Я. Марром, И. Ю. Крачковским, В. Ф. Шишмаревым, Б. А. Лариным, И. И. Мещаниновым, П. С. Кузнецовым, В. В. Виноградовым, Г. О. Винокуром, В. М. Жирмунским, Н. И. Конрадом и нашими современниками Р. И. Аванесовым, М. П. Алексеевым, Д. С. Лихачевым, Р. Р. Гельгардтом, Ю. С. Сорокиным. А Л. В. Щербу даже называли «рыцарем филологии»⁵.

4. Однако, как очевидно, филология — наука, обращенная не только в прошлое. Уже И. И. Срезневский в середине XIX в. (см.: Мысли об истории русского языка и других славянских наречий. 1-ое изд. — 1849 г.; 2-ое изд. — 1887 г.) определил среди первоочередных задач науки о языке детальное изучение современного языка и его диалектов. Эту «филологическую» линию в лингвистике поддержал в начале XX в. Л. В. Щерба. Он ратовал за возвращение лингвистики в лоно филологии, призывал лингвистов сделать объектом своего научного наблюдения «живой язык, орудие общения между людьми»⁶.

Да и в своих разысканиях в области языка и литературы прошлых эпох современная филология в конечном счете обращена к злобе сегодняшнего дня, к задачам и проблемам более полного и глубокого осмысления и понимания соревненности, места человека, его деятельности в современном мире через опыт (или при помощи опыта) предшествующих поколений⁷. «Вне исторического познания невозможно понимание современных явлений»⁸, — писал В. В. Виноградов в связи с обоснованием истории русского литературного языка как самостоятельной отрасли филологии.

5. Самое примечательное в филологических исследованиях, посвященных языку и литературе прошлых эпох, языку памятников древней и старой письменности, — проникнутость изучаемого материала историческим осмыслением широкого диапазона (и в историко-лингвистическом плане, и в историко-литературном, и в историко-культурном, и в собственно-историческом аспектах), поглощенность исследо-

⁵ Ларин Б. А. История русского языка и общее языкознание. М., 1977, с. 201.

⁶ Щерба Л. В. О задачах лингвистики. — ВЯ, 1962, № 2, с. 98.

⁷ Проблема антропоцентризма филологии вообще, современной в частности и в особенности, требует специального рассмотрения.

⁸ Виноградов В. В. Избранные труды: История русского литературного языка. М., 1978, с. 152.

вателя исторической проблематикой и историческим подходом к комментированию и научному анализу текстов, к интерпретации языковых и литературных явлений и факторов прошлых эпох. В этом и состоит сильная сторона и видится одна из причин научного долголетия филологических (в том числе и лингвистических) разысканий в области языка старой письменности и памятников более близких эпох. А. Мазон в своей характеристике славянской филологии подчеркивал с особой силой: «...я бы сказал, что история в ее самых разнообразных проявлениях попросту включалась в филологию, если не поглощалась ею»⁹. В этой связи весьма знаменательно заключение В. В. Виноградова о подходе Буслаева к истории русского литературного языка: «...Ф. И. Буслаев стремился связать историю русского литературного языка с историей русской культуры, с историей русской литературы и с историей народной поэзии»¹⁰.

Между прочим, истоки «точности», а вернее сказать, строгости¹¹, филологических (в том числе лингвистических) исследований таятся именно в выверенности и обоснованности исторического анализа, исторического подхода к изучаемым явлениям.

6. Филология как научная дисциплина очень рано подверглась интенсивному процессу дифференциации. Прежде всего выделились языкознание и литературоведение. Этот процесс (уже «вторичной» дифференциации) продолжается и в наше время.

Дифференциация филологии, несомненно, — положительное явление в общем плане развития науки, хотя этот процесс принес известные огорчительные утраты в некоторых сферах «филологических наук».

Таким образом, современная филология — это комплексная наука, объединяющая научные дисциплины, изучающие языки, литературы и народно-поэтическое творчество в их истории и современном состоянии, а также наиболее общие закономерности языка, литературы, фольклора как социально-исторически детерминированных феноменов человеческой культуры.

⁹ Мазон А. Указ. соч., с. 424.

¹⁰ Виноградов В. В. История русских лингвистических учений. М., 1978, с. 305.

¹¹ Это уточнение было предложено С. Аверинцевым в «Похвальном слове филологии»: «...филология есть «строгая» наука, но не «точная» наука...» (Юность, 1969, № 1, с. 98).

7. Что касается истории русского литературного языка (и вообще истории литературных языков), то эта одна из самых молодых отраслей филологической науки, наряду с наукой о языке художественной литературы, представляется результатом синтеза, интеграции обособившихся ранее вследствие дистрибутивных процессов, совершившихся внутри филологической науки, языкоznания и литературоведения, а также и истории на новом этапе развития филологии.

Как и науку о языке художественной литературы, историю литературных языков можно квалифицировать, охарактеризовать как жизнеспособные сферы возрождающейся на новой основе, традиционной для филологии синкремичностии подхода к объекту исследования. Только благодаря этой синкремичности, обобщенности, многоаспектности рассмотрения объекта исследования (при глубоком историзме анализа) и может в полной мере осуществляться гуманистическое назначение филологии.

В. В. Виноградов, связывая развитие новой отрасли филологии с советской эпохой, писал: «Стремительный рост духовной культуры, выражаясь в изменениях языка, порождает обостренную требовательность и интерес к слову, к словесно-художественным произведениям. В эпоху глубокого обновления жизни общественная роль филологии как науки о языке, о литературе, о словесной культуре, а также о методологии и лаборатории истолкования литературных памятников и современных проявлений поэтического творчества становится особенно важной и влиятельной. Понимание и толкование литературного текста — основа филологии и вместе с тем основа исследования духовной, а отчасти и материальной культуры. В связи с обострением интереса к образованию национальных культур и формированию новых наций, национальных письменностей и национальных языков в пределах Советского Союза на основе философии марксизма-ленинизма осуществляется новый синтез таких областей общественных наук, как история, языкоznание и литературоведение. Именно на почве подобного взаимодействия и объединения быстро вырастает и плодотворно развивается такая отрасль лингвистики, как история литературных языков».

Прежде всего научное движение в новом направлении начинается с истории русского литературного языка»¹².

¹² Развитие языкоznания в Советском Союзе за 50 лет. — ВЯ, 1967, № 5, с. 11—12.

8. Успех, плодотворность, жизнеспособность истории русского литературного языка как самостоятельной дисциплины обусловлены по крайней мере двумя важными обстоятельствами.

Это прежде всего унаследованная от старой филологии глубокая приверженность к истории, к широкому историческому осмыслению изучаемого материала.

Видимо, закономерно и знаменательно, что у истоков разработки истории русского литературного языка стояли такие выдающиеся филологи, как А. А. Шахматов, В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, Б. А. Ларин. Известно, что А. А. Шахматов, «с ранних лет увлекавшийся русской историей, ... всегда был больше историком, чем собственно лингвистом»¹³.

Историзм является самой яркой отличительной чертой и научного метода В. В. Виноградова. Не случайно во всех оценках его научного наследия подчеркивается именно эта сторона. Приведем лишь одну лаконичную характеристику: В. В. Виноградов является «лингвистом-филологом и подлинным историком»¹⁴.

Любовь к истории, к историческому осмыслению фактов предполагает и пристрастие к исследованию фактического материала, стремление поверять теоретические построения фактами, осмыслимыми в контексте широкой исторической панорамы. И опять-таки не случайно, что научная разработка истории русского литературного языка была начата В. В. Виноградовым и Г. О. Винокуром, которые к тому времени посвятили много исследовательских усилий вопросам языка письменных памятников, языка писателей и языка художественной литературы. Именно эту сторону филологической деятельности основоположников научной разработки истории русского литературного языка особо выделял Б. А. Ларин¹⁵.

9. Тяга к истории, к историческому осмыслению языковых фактов и явлений как «родовая» черта филологии создала благоприятные условия, подготовила почву для восприятия новой научной дисциплины принципа историзма в его марксистско-ленинском понимании.

¹³ Ларин Б. А. Лекции по истории русского литературного языка (Х—XVIII вв.). Л., 1975, с. 12.

¹⁴ Мазон А. Указ. соч., с. 426.

¹⁵ Ларин Б. А. Лекции..., с. 7.

Этот принцип предполагает анализ явлений в их развитии и взаимодействии, максимальный учет всех факторов, относящихся к разбираемой проблеме. При этом имеется в виду — как непременное условие всякого исследования фактов общественной жизни — конкретно-историческое освещение фактов и явлений, существующих и развивающихся в определенных условиях, в определенной ситуации. «Весь дух марксизма, вся его система требует, чтобы каждое положение рассматривать (α) исторически; (β) лишь в связи с другими; (γ) лишь в связи с конкретным историческим опытом»¹⁶.

Если говорить о современном состоянии истории русского литературного языка (и вообще истории литературных языков), то главенствующий характер принципа историзма для данной научной дисциплины выдвигает ее на передовые позиции современного языкознания, поскольку в нашу эпоху проблема историзма является одним из наиболее важных вопросов науки о языке¹⁷. Как неоднократно подчеркивал В. В. Виноградов, «этнография, археология и история внедряются в самую глубину языкознания. Синтез истории языка и истории народа — одна из основных задач лингвистики»¹⁸.

10. Другое обстоятельство, способствовавшее успеху и обеспечившее жизнеспособность истории русского литературного языка как научной дисциплины, связано с функциональным направлением исследований языка, поскольку литературный язык — это прежде всего и больше всего коммуникативная система.

Такие исследования развернулись именно в советском языкознании в 20-е — начало 30-х годов (Л. П. Якубинский, Г. О. Винокур, В. В. Виноградов, В. М. Жирмунский).

Для советского языкознания характерно (и это принципиальная позиция истории литературных языков) исходить из того, что исследование системы языка предполагает учет всех сторон функционирования языка в обществе, а это не-

¹⁶ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 42, с. 329.

¹⁷ Из новейших работ см.: Филин Ф. П. Потебня А. А. и современное языкознание. — В кн.: Наукові традиції і актуальні проблеми лінгвістики. Київ, 1975, № 5; Eckert R. Zum Historismus in der Sprachwissenschaft. — Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. Berlin, 1978, № 5.

¹⁸ Виноградов В. В. Слово о филологическом образовании. — Вестник высшей школы, 1967, № 11, с. 50.

избежно связано с историческим аспектом осмысления процессов современной лингвистической эволюции.

Признание диалектической взаимосвязанности синхронного и исторического изучения конкретного языка — одно из важнейших положений истории литературных языков, поскольку конечной целью этой филологической дисциплины является научное, исторически обоснованное описание системы и функционирования современных литературных языков. В. В. Виноградов в связи с обоснованием задач истории русского литературного языка утверждал: «Изучение системы современного русского языка, даже если оно производится на основе синхронического принципа, но сопровождается учетом внутренней динамики языковых явлений и анализом функций речевых пережитков, неотделимо от истории русского литературного языка. Вне исторического познания невозможно понимание современных явлений. История русского литературного языка совершается на наших глазах и в нашем сознании. Мы живем в языковой стихии и уносимся ее течением. В структуре современного русского языка — при полном и всестороннем охвате живых процессов — резко выделяются разные пласти предшествующих систем, мертвые и непродуктивные категории, уводящие к прошлому, нередко очень далекому»¹⁹. Значение разработки истории русского литературного языка для полноценного исследования его современного состояния подчеркивал одновременно с В. В. Виноградовым и С. П. Обнорским: «Разработка этой дисциплины (истории русского литературного языка. — Ю. Б.) и в отношении отдаленного прошлого языка, в особенности же в эпохи, примыкающие к современному периоду литературного языка, необходима, так как только в этих условиях возможно полное научное осознание современного литературного языка»²⁰.

11. Филологический характер истории русского литературного языка обусловлен, во-первых, тем обстоятельством, что она синтезирует данные исторической грамматики, исторической лексикологии и словообразования, исторической фонологии, диалектологии, лингвогеографии, социолингвистики, стилистики, истории литературы, отчасти фольклористики, опосредованно — поэтики. Поэтому историк литературно-

¹⁹ Виноградов В. В. Избранные труды: История русского литературного языка. М., 1978, с. 152.

²⁰ Обнорский С. П. Указ. соч., с. 20.

го языка должен быть не только разносторонне подготовленным лингвистом, но и профессионально образованным литературоведом.

Этот тезис, его актуальность особенно хотелось бы подчеркнуть в связи с той принципиальной, конструктивной ролью, которую играли художественная литература, литературно-художественные стили в истории многих литературных языков, особенно в период их национального развития. Это принципиально важно для истории русского литературного языка, так как именно период формирования общенациональной нормы литературного выражения непосредственно связан с литературно-художественными стилями.

В исследовательской практике историка литературного языка возникают сложные проблемы разумного, рационального отграничения собственных задач исследования в первую очередь от специальной проблематики неравнозначных лингвистических дисциплин, а также и литературоведческих дисциплин.

Важным аспектом деятельности историка литературного языка представляется самоопределение внутри социолингвистики. В частности, принципиально и методологически важно для общего направления исследований, определить сам объект исследования, объем, рамки исследуемого материала, «взаимоотношения» истории литературных языков с теорией литературного языка. Ведь очевидно, что теоретические представления о литературном языке лежат в основе, создают методологическую базу всей исследовательской деятельности в области истории конкретного литературного языка.

12. Во-вторых, филологический характер исследований по истории литературных языков обусловлен широким, принципиально предполагаемым обращением к истории во всех ее разнообразных проявлениях — от гражданской истории до истории культуры вообще, включая и материальную культуру и этнографию. В связи с этим надо указать и на обращенность истории литературных языков к искусствознанию.

13. История русского литературного языка -- научная дисциплина, сложившаяся в самостоятельную науку в советское время.

И это вполне закономерно, поскольку, с одной стороны, именно в советской науке культивируется принцип историзма в его последовательном диалектико-материалистическом осмыслинии и, с другой стороны, именно в советском языкоизнании в 20-е годы теоретически обеспечено и исследователь-

ски плодотворно разрабатывались идеи функционализма, сложилась теоретическая база функционального исследования системы языка.

Плодотворное развитие истории литературных языков, успехи в области исследования языка художественной литературы вселяют оптимизм при обсуждении перспектив современной филологии. Она возвращается «на круги своя», обогащенная теоретически, идеино, в исследовательско-методологическом плане, развиваясь на базе достижений современного научного знания.

Е. М. ВЕРЕЩАГИН,

В. Г. КОСТОМАРОВ

(Институт русского языка им. А. С. Пушкина)

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СОМАТИЧЕСКОМУ ЯЗЫКУ

Одно из замечательных стихотворений А. К. Толстого¹ состоит из трех частей-четверостиший. В первой выражается чувство сомнения:

Лишь только один я останусь с собою,
Меня голоса призывают толпою.
Какому же голосу отповедь дам?
В сомнении рвется душа пополам.

Во второй части поэт говорит о трудных попытках разрешить сомнение и, наконец, принять решение:

Советов, угроз, обещаний так много,
Но где же прямая, святая дорога?
С мучительной думой стою на пути —
Не знаю, направо ль, налево ль идти?

Состоялся ли выбор? И да, и нет. Поэт решается... не решаться. Он отказывается от обдуманного выбора, так что парадоксальным образом выбор все же имеет место:

Махни уж рукой да иди, че робея,
На голос, который всех манит сильнее,
Который немолчно, вблизи, вдалеке,
С тобой говорит на родном языке!

Кульминация выражена жестом: махни рукой. Если в двух частях душевное состояние передается верbalными средствами, то в третьей перемена состояния (душевное дви-

¹ См., например: Толстой А. К. Колокольчики мои... М., 1978, с. 44.

жение) выражена с помощью языка человеческих телодвижений.

Почему потребовалось обращение к этому телесному — назовем его *соматическим* — языку? Является ли он важным для коммуникации? Если да, то как он соотносится с вербальным языком? Почему литераторы не прямо описывают переживания и аффекты своих персонажей, а косвенно — через жесты и мимику? Этими и аналогичными вопросами занимался Р. Р. Гельгардт в своем «Рассуждении о диалогах и монологах»; его интересовала проблема, «каким образом живая, произносимая речь... со всеми просодическими, ритмико-интонационными и другими элементами, которыми ведает паралингвистика (мимика, жесты, позы), изображается "искусством словесной живописи"?»² Р. Р. Гельгардту принадлежит заслуга тонкого анализа литературных текстов, «живописующих» соматическое поведение героев.

Следующие ниже разыскания в известной мере вдохновлены названной работой; нами восприняты исследовательский метод и отбор материала, на котором поконится анализ. Правда, мы ищем закономерности словесного отражения соматического языка не только в «искусстве слова» (т. е. в литературе), но и в «прагматике слова» (т. е. в повседневном и ориентированном не на образ, а на передачу сообщений литературном языке), причем нас занимает словарная дескрипция соматического языка — возможности его отражения (фиксации и семантизации) с помощью специальных лексико-графических приемов.

Что входит в состав соматического языка? Во-первых, жесты — значащие телодвижения, исполняемые сознательно и в расчете на наблюдателя. В согласии с общезыковым узусом, жесты охватывают все телодвижения, за исключением лица. Типичный пример жеста — *махнуть рукой*, что означает «отказаться от каких-либо попыток, отступиться, переменить первоначальное решение»: Федор Павлович собирался поставить надгробие своей жене, но вдруг уехал в Одессу, «махнув рукой не только на могилы, но и на все свои воспоминания» (Достоевский. Братья Карамазовы). Еще пример: «Кипящий Ленский не хотел/Пред поединком Ольгу видеть / На солнце, на часы смотрел, / Махнул

² Гельгардт Р. Р. Рассуждение о диалогах и монологах: К общей теории высказывания. — В кн.: Сборник докладов и сообщений Лингвистического общества. Калинин, 1971, т. II, вып. 1, с. 73.

рукой напоследок — / И очутился у соседок» (Пушкин. Евгений Онегин).

Во-вторых, к соматическому языку относится мимика — значащие движения лица. Мимика и жесты очень близки по всем характеристикам, но приложимость их разная: мимика избирательно охватывает лишь игру лицевых мышц (даже кивания головой принадлежат уже к жестам). Примеры: услышав явное вранье, «Китайцев только разводил руками и поднимал глаза к небу» (Булгаков. Мастер и Маргарита); Понтий Пилат слуге: «Почему в лицо не смотришь, когда подаешь? Разве ты что-нибудь украл?» (там же).

Жесты и мимика — динамичны, они определяются через ключевое слово «движение». В соматический язык, по нашему мнению, входят, в-третьих, и статичные явления — позы, т. е. значащие положения человеческого тела, сохраняемые в течение определенного времени, иногда краткого, а иногда продолжительного. Например: «В это время дамы отошли от колодца и поравнялись с нами. Грушницкий успел принять драматическую позу с помощью костиля...» (Лермонтов. Герой нашего времени). В заключительной немой сцене Городничий остается «в виде столба, с распростертыми руками и засинутой назад головою» (Гоголь. Ревизор). Поза Грушницкого не описана, но смысл ее назван (драматизм); поза Городничего, напротив, описана с внешней стороны, а о ее смысле читатель должен догадаться сам.

В-четвертых, укажем на так называемые выражения лиц — значащие фиксированные положения лицевых мышц. Если позы — статический аналог жестов, то выражения лиц — статический аналог мимики. Два примера: «Он нахмурил брови, стиснул зубы, неподвижный взгляд его стал как бы еще неподвижнее...» (Достоевский. Братья Карамазовы); «— Теперь я приговорен! — А затем как закоченел на месте, стиснув зубы и скав крестом на груди руки» (там же). Выражения лиц, хотя и сохраняются подобно позам более или менее продолжительное время, не присущи данному человеку перманентно, поэтому их не следует смешивать с чертами лица.

Отметим, что как в вербальном языке отсутствие какой-либо единицы на подобающем ей месте несет информацию, так и «нулевые» жесты и мимика значимы, причем часто не менее, чем исполненные. Героня одного рассказа (Белов. Моя жизнь) пишет о себе: «Я сидела на диване и даже не пошевельнулась. Я была уверена, что никуда он не денется»

(ср. устойчивые выражения: глаз нельзя отвести, и глазом не моргнет, и не почешется, не повела бровью и т. д., смысл которых заключен в указании на отсутствие ожидаемой мимики или «всегда бывающей» жестикуляции).

Четыре названных явления — жесты, мимика, позы, выражения лиц — объединяются такой важной чертой, как намеренность, произвольность. Между тем лицо и тело нередко выражают эмоции и чувства, владеющие человеком, непроизвольно. Скажем, внешним признаком испытываемого холода является синяя «гусиная» кожа, мелкая дрожь, «клязание» зубами. «Через мгновение ему стало вдруг очень холодно... «Озно!, что ли, со мной», — подумал Митя, передернув плечами» (Достоевский. Братья Карамазовы); «Выйдя за ворота, он (Коля Красоткин) огляделся, передернул плечиками и, проговорив: «Мороз!», направился прямо по улице» (там же). Если жесты, как правило, исполняются для стороннего «наблюдателя», то непроизвольные телодвижения отмечаются и при его отсутствии; более того, на людях они обычно скрываются, хотя далеко не всегда это удается. Непроизвольные движения лица и тела выражают внешние физиологические состояния человека, поэтому для названия их вслед за Р. Р. Гельгардтом³ прибегнем к физиологическому термину, обозначив их как симптомы состояния психического.

Таким образом, в-пятых, к соматическому языку принадлежат разнообразные симптомы душевных движений и состояний. В частности, симптоматичны перемены цвета лица человека: покраснел (жарко или рассердился), покрылся пятнами (волнуется, возмущен), позеленел (от злости), побледнел (волнуется или признак дурноты), посинел (замерз или задыхается). Симптомами можно считать черты лица человека, как данные ему природой, так и приобретенные с годами: серый цвет и заострившиеся черты изможденного лица (описанные еще в IV в. до н. э. черты лица Гиппократа). Широко распространена народная физиогномика, состоящая из «ходячих» в повседневной жизни заключений о характере человека на основании его внешнего облика: «небольшого роста толстяки обычно бывают добродушными оптимистами, в то время как тощие и длинные, напротив, бывают скептиками» (Гашек. Приключения бравого солдата Швейка); небольшого роста толстяки «обла-

³ Гельгардт Р. Р. Указ. соч., с. 105.

дают, наряду со своим оптимизмом, еще большой склонностью к эпикурейству» (там же). К симптомам можно отнести нечленораздельные звуки⁴, издаваемые человеком от радости, испуга и т. д. «Я разрыдалась, а Павлик (...) тоже зашвыркал носом» (Белов. Моя жизнь); — А дети, тебе детей не жалко? — Катя в школу, а Мишку в садик устроим. — Он хмыкнул, ничего не сказал» (там же). Эти звуки не следует относить к вербальному (т. е. членораздельному) языку, хотя по традиции их описывают как междометия (так, описательная форма *гм! гм!* далеко не передает подлинного нерасчлененного комплекса, представляющего собой хмыканье): «Гм! гм! Читатель благородный, Здорова ль ваша вся родня?» (Пушкин. Евгений Онегин). К звуковым симптомам относятся, наконец, плач, вой, скрежет зубов, вздохи, визги и т. д.: «Земские школы надо подтянуть... Там учителя нигилисты, — говорил Передонов, — а учительницы в бога не верят. Они в церкви стоят и сморкаются» (Сологуб. Мелкий бес); «...несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на темный образ ... и прерывисто вздохнул» (Чехов. Ванька).

Жесты и симптомы могут совпадать по внешней форме, например, плевком можно выразить возмущение и презрение (это жест), но одновременно плевок на землю может быть выражением (симптомом) нездоровья человека или его недостаточного воспитания. Возмущенный занудавец, от которого скрывается фельдкурат Кац, плюнул на пол; Швейк принимает жест за симптом: «Вы плюете на землю в трамвае, поезде, в других общественных местах. Я-то все удивлялся, почему там везде висят таблички, что плевать на землю воспрещается, а теперь я понимаю, что это из-за вас» (Гашек. Приключения бравого солдата Швейка). Связь между симптомами и жестами довольно тесная, генетически многие жесты и мимиические движения складываются на основе симптомов (обратного движения не бывает).

Итак, в соматическом языке человека различаются, по крайней мере, пять явлений — жесты, мимика, позы, выражения лиц и симптомы. В литературе однословным родовым термином, охватывающим все формы соматического языка, как правило, оказывается кинема (от греческого глагола

⁴ Там же, с. 90. Р. Р. Гельгардт называет их фонетическими жестами, но мы не можем воспринять его термин, поскольку строго различаем жесты и симптомы.

kinēo — двигать, подвигать)⁵. Однако внутренняя форма этого термина, хорошо обобщающего те формы невербального языка, которые отражают душевые движения (жесты, мимику, часть симптомов), препятствует его распространению на позы, выражения лиц и на ту часть симптомов, которые постоянны или которые меняются по прошествии длительных сроков. Более подходящим в качестве термина нам кажется слово *соматизм* (от греческого имени *soma* — тело, корпус). *Соматизм* определяем как значащий признак, положение или движение лица или всего тела человека. Отсюда становится яснее употребленное нами без определения терминологическое словосочетание *соматический язык*: подразумеваются совокупность соматизмов (т. е. их инвентарь, аналог словарного состава в вербальном языке) и правила их исполнения, сочетания друг с другом, редукции, усиления, включения в речевую ситуацию, а также восприятия адресатом (т. е. аналоги активной и пассивной грамматик и функциональной стилистики).

Здесь возникают закономерные вопросы: разве бывают не значащие признаки, движение или положение тела человека? разве есть что-либо в поведении людей, что не несло бы никакой информации для наблюдателя? Отвечая на них, введем разграничение двух видов человеческого поведения. Прагматическое действие направлено на достижение непосредственных и конкретных целей, оно самодостаточно, выполняется ради себя самого. Например, чтобы отогнать муху, достаточно махнуть рукой. Совсем другое положение видим в двух примерах: «Многое не говорил, а все охал и качал на меня [Зосиму] головой умиленно» (Достоевский. Братья Карамазовы); в ответ на докучливые приставания Ракитина: «— Отстань! — проговорил вдруг Алеша, /.../ устало махнув рукой» (там же). Здесь действия направлены на передачу некоторого эмоционального и императивного содержания, поэтому они отнюдь не самодостаточны, а имеют второй, идеальный план, как и двуплановое слово вербального языка. Подобное поведение, назначение которого выходит за пределы самого себя, назовем *семиотическим*. Поэтому в определении соматизма и подчеркнут знаковый характер признака, положения или движения лица и тела человека.

Соотношение между паралингвистикой и

⁵ Именно этим родовым термином и пользуется Р. Р. Гельгардт, следя устойчивой традиции (Указ. соч., с. 73, 87 и след.).

соматическим языком. Соматический язык обычно считается предметом науки, называемой паралингвистикой. Так, Р. Р. Гельгардт считает жесты, мимику, позы «манерами речевого поведения, сопровождающими речевой акт»; их анализом «ведает паралингвистика»⁶. Паралингвистика, по определению Г. В. Колшанского, является «новой языковедческой дисциплиной, занимающейся изучением факторов, сопровождающих речевое общение и участвующих в передаче информации»⁷; она охватывает кинесику (от жестов до пантомимы), фонацию (особенности тембра, темпа, интонирования) и ситуативный контекст⁸. Таковы же или близки к этим взглядам многих других ученых, писавших на паралингвистические темы⁹.

Паралингвистика — термин мотивированный, и, стало быть, предмет и частично проблематика этой науки задаются мотивированной терминией. Если перевести на русский язык греческий префикс *para-*, то паралингвистика — это «около»-лингвистика, а паразык (ее исследовательский предмет¹⁰) — это «около»-язык. Имеется в виду, конечно, членораздельный вербальный язык. Согласно мотивировке предметом паралингвистики может быть только то, что «около» верbalного языка, что обслуживает его и что зависит от него. В таком случае фонация, безусловно, является предметом данной науки: тембр, темп и интонация неотделимы от вербальной речи. Но зависит ли от вербального языка язык человеческого тела? Производны ли жесты от слов? Всегда ли позы и мимика сопровождают вербальную речь?

Принадлежность соматического языка к паралингвистике нуждается в обосновании. Это обоснование не имеет ничего общего с казуистикой, потому что в нем возобновляется хотя и старый, но все еще не решенный вопрос: что первично — соматический язык или вербальный? С одной стороны, действительно, можно указать на ряд случаев, когда соматизмы не более как сопровождают вербальную речь и потому должны причисляться к паралингвистике. Например, говоря о чем-то с осуждением, можно одновременно покачивать головой, подкрепляя смысл, в общем-то и так ясный: когда

⁶ Гельгардт Р. Р. Указ. соч., с. 73.

⁷ Колшанский Г. В. Паралингвистика. М., 1974, с. 6.

⁸ Там же, с. 10.

⁹ См. линг., указ. в сн. 31.

¹⁰ Колшанский Г. В. Указ. соч., с. 9.

старец Зоспма «провонял», «о сем многие /.../ соблазнялись и говорили между собой, покивая головами» (Достоевский. Братья Карамазовы). С другой стороны, в несравненно большем количестве случаев соматизмы выступают вполне самостоятельно: при их актуализации вербальная речь отсутствует или выступает в подчиненной сопровождающей функции.

В первую очередь сказанное справедливо по отношению к симптомам. Покрасневший или дрожащий от холода человек в лучшем случае прокомментирует, что с ним происходит, но, как правило, симптомы показательны лишь для наблюдателя, а их носитель молчит или даже их подавляет. Пример комментирования: «Я ни с того ни с сего выскошил из-за стола, присел и, давая волю своей радости, прыгнул, стараясь хлопнуть ладонями по потолку. Засмеялся, потому что понял вдруг выражение 'телячий восторг'» (Белов. Плотницкие рассказы). Пример показательности симптома для наблюдателя: на Козонкова навалились несчастья, а «Козонкову это хоть бы что, только насвистывает» (там же). Подавление симптома наиболее часто обусловлено национально-культурными запретами: так, уставший человек на людях сдерживает зевоту. Нередко, правда, такое подавление невозможно; застенчивый рад бы не краснеть, но это не в его власти: «Потом белокурая девушка купила у торговки булку и два куска постного сахара и подала мне краснея: — Мерси вам за рубль, гражданин» (Форш. Одеты камнем).

Наряду с симптомами имеется большая группа вполне самостоятельных, не зависящих от вербальной речи жестов. Жестикуляция дирижера, жестовые объяснения проступка игрока футбольным судьей, манипуляции регулировщика дорожного движения, пальцевая сигнализация рефери в боксе — во всех этих примерах звучащей речи нет, однако здесь мы наблюдаем предварительные словесные соглашения, касающиеся лишь замкнутых профессиональных групп. Кинетические языки глухих также основываются на вербальной речи. Примат вербальной речи очевиден и в попытках создать международный язык в качестве «всемирной жестикуляции»¹¹. Самостоятельность — характеристика не искусственных, а естественных жестов.

Первый аргумент в поддержку мысли о самостоятельности жестов и мимики можно усмотреть в затрудненности

¹¹ См. подробнее: Дрезен. Э. Основы языкознания, теории и истории международного языка. М., 1932, с. 41 и след.

перевода соматизма в вербальную речь. Три выписки из «Мастера и Маргариты» обнаруживают три разных значения соматизма *сплюнуть, плюнуть на землю*: 1. Буфетчик при виде нескромно одетой горничной: «Гелла повернулась. Буфетчик мысленно плюнул и закрыл глаза». Выражено, скорее всего, отвращение, его еще можно выразить иначе: наморщив нос, закрыв лицо (глаза) рукой, известна и гримаса отвращения¹²; 2. «— А на голову не обращайте внимания, не имеет отношения... На голову плюньте, она здесь ни при чем». Здесь плюнуть — не обращать внимания на что-либо; 3. Маргарита пошла отворять дверь. «Ты хоть запахнись, — крикнул ей вслед Мастер. — Плевала я на это, — ответила Маргарита уже из коридорчика». В этом случае выражаются презрение к принятым нормам и отказ им следовать. Теперь четыре выписки из «Братьев Карамазовых»: 4. Митя не получил от Хохлаковой крайне нужных ему денег. «— О, чтобы черт!.. — взревел вдруг Митя, /.../ плюнул и быстрыми шагами вышел из комнаты, из дома, на улицу, в темноту!» Выражена сильная досада, может быть, перед нами также знак окончательного прекращения всяких отношений; 5. Петр Ильич сначала хотел было последить, чтобы Митю не обсчитали, но вдруг, «сам на себя рассердившись, плюнул и пошел в свой трактир играть на биллиарде». Здесь наблюдаем неожиданную перемену первоначального решения — синонимичный жест: махнуть рукой; 6. Пан Муссялович отказался от предложенных ему трех тысяч рублей. «— Пфе! А пфе! (Стыд, срам!) — И он плюнул. Плюнул и пан Врублевский». Перед нами соматическое выражение презрительного отказа от недостойного предложения; 7. Впоследствии Муссялович рассказывал о происшествии: «— Пан Митя в том покое давал мне тржн тысёнцы, чтоб я отбыл. Я плюнул пану в физио». Говорящий дает другую интерпретацию своему действию: плюнуть в лицо — нанести несмыываемое оскорблениe. В том же смысле восприняла поступок Мити и Хохлакова: «Он вышел в бешенстве и затопал ногами. /.../ Он даже плюнул в меня, можете это себе представить?» Таким образом, один и тот же соматизм выражает весьма большой спектр значений: отвращение, игнорирование, презрение, досаду, перемену решения, отказ, оскорблениe. Соматизм одновременно передает наблюдателю

¹² Весьма выразительную фотографию гримасы отвращения см.: Симеонов В. Общуване без думи. — Отечество, 1979, № 19, с. 43.

информацию о том душевном состоянии, которое свойственно для литературного персонажа.

Если попытаться вместо жеста дать верbalное описание, то возникают серьезные затруднения. В принципе такое описание возможно (мы, например, даем свои переводы соматизмов на вербальный язык), однако оно оказывается бледнее информации, сообщаемой жестом или мимикой: исчезает эмоциональный контекст, который не менее важен для читателя, чем прагматическое сообщение о поступках и событиях. Второй аргумент, поддерживающий тезис о независимости части соматизмов от вербального языка, изложим в виде рассуждения. Вербальный и соматический языки принципиально различаются своей специализацией: один нацелен в первую очередь на отражение рациональной сферы человеческой психики, а второй — эмоциональной. Это наблюдение имеет, естественно, генеральный характер, т. е. оно относится не ко всем фактам, а к их большинству, поэтому не будем смущаться отдельными противоречащими примерами — исключения не отменяют правила. Предположим, человеку страшно. Соматизмы немедленно сообщают об этом: «— Сказывай, где деньги спрятаны? Артем поджал под себя ноги и замигал глазами. — Что жмешься? Где деньги? Глаза, как сыр, таращит! Ну? Давай деньги» (Чехов. Беспокойный гость). Конечно, что человек чувствует, можно передать вербально: он боится, ему страшно, но к этому выводу наблюдатель приходит на основе того, что испытывающий страх поджимает ноги, часто мигает и таращит глаза.

Симптомы (т. е. внешние признаки физиологических состояний и эмоций) для всех людей мира одинаковы. Уже Дарвин заключил, что симптомы универсальны, хотя затем неоднократно высказывалась мысль, что выражения эмоций и чувств определяются национальной культурой. Недавно на обширном материале П. Экман¹³ показал, что обе точки зрения содержат часть истины: для всех людей мира характерны одинаковые сокращения лицевых мышц и симптоматичные телодвижения, которые выражают счастье, блаженство, печаль, гнев, страх, удивление, отвращение, интерес и т. д., однако правила эксплицирования соматизмов (*display rules*), не только в присутствии других людей, но

¹³ Ekman P. Universal Facial Expressions of Emotions. — In: Culture and Personality: Contemporary Readings. Chicago, 1974.

и наедине, в каждой национальной культуре свои собственные. Эти правила распределяются по четырем группам: 1) снижение интенсивности (например, мальчику от укола больно, но он должен быть мужественным, поэтому едва поморщился); 2) увеличение интенсивности (если никто не испытывает особой печали на погребении, он все же «обязан» плакать и иметь опечаленный вид); 3) симуляция бездеятельности (т. е. отсутствие каких-либо соматизмов: например, мальчику было больно, а он даже не поморщился); 4) маскировка эмоции (соматизмом, относящимся к другой эмоции; скажем, человеку страшно, а на его лице беззаботная улыбка). П. Экман пишет, что лицо — это наиболее эффективное средство невербальной коммуникации, но одновременно оно — великолепный невербальный лжец (*non-verbal liar*), потому что человек способен задерживать адекватное выражение лица и выражать на нем чувства, которые ни в коей мере сам не испытывает. Отсюда вытекает, в частности, что при чтении художественных текстов на иностранных языках читателю понятны симптомы, если включены национально-культурные механизмы их вывода наружу; в противном случае симптоматика может ввести в заблуждение.

Конвенциональные жесты складываются на основе физиологических симптомов. Например, человек, испытывающий гнев, сжимает руки в кулаки; на основе этого симптома возникает условный жест угрозы (грозить кулаком), который нередко в шутку исполняется и человеком в спокойной состоянии. Невербальный язык генетически возникает, таким образом, без участия вербального языка. На самом деле: человек частично (в области симптомов) разделяет его с животными (например, оскал как признак агрессии, дрожь от холода; отсюда, между прочим, метафорические зооморфные жесты типа махнуть хвостом, поджать хвост, показать зубы /клыки/, когти, раскрыть клов, чистить перышки, ходить на задних лапках, а также зооморфные симптомы типа нахохлился, взъерошился). Если соматический язык старше членораздельной речи вербального языка (нам бы не хотелось здесь включаться в отшумевшие споры), то его самостоятельность очевидна.

Соматический язык предназначен для выражения душевных состояний и движений, эмоций человека. В силу своей специализации он передает эмоции эффективнее, чем вербальный язык: «грифаса отвращения говорит красноречие».

чивее тирад»¹⁴. Однако может ли соматический язык выражать рациональную мысль? Попробуйте жестами сказать, например: «Завтра мы возвращаемся с дачи». «Можно взглядом призвать аудиторию ко вниманию, осудить человека, выразить просьбу или упрек, но невозможно ни жестом, ни мимикой, ни даже молчанием передать мысль»¹⁵. Ограниченнность соматического языка сферой эмоций и императивов, вероятно, не нуждается в дальнейшем обсуждении.

Что же касается верbalного языка, то его средства, безусловно, позволяют выразить эмоции, но при этом эмоции рационализируются, разлагаются на составные элементы. Именно поэтому в верbalном языке сформировалось немало единиц (слов и словосочетаний), которые называют не просто эмоцию, а жест или мимику, возобновляют в памяти адресата некоторый соматизм, и таким косвенным путем эмоция передается адресату наиболее адекватно. Насколько богаче любого рационального описания следующий пассаж, построенный на указании соматизма: «Смотри на меня, пристально смотри!.. Подойдите сюда, Алексей Федорович... дайте вашу руку, вот так... — проговорила она, схватив его холодную руку своею горячою рукой... — Алеша, дайте мне вашу руку, что вы ее отнимаете... она еще больше придвигнулась к нему, заглядывая в лицо... — Не отводи своих глаз, пожалуйста!» (Достоевский. Братья Карамазовы). Не называя прямо призыв к откровенности, доверительности, писатель мастерски обрисовал душевное состояние героини, обрисовал его косвенно, вербально воспроизведя информацию, которая в естественных условиях передается на соматическом языке. Таким образом, специализация верbalного языка на передаче в первую очередь мыслей, а эмоций лишь во вторую может быть допущена хотя бы как гипотеза.

Все сказанное приводит к мысли о параллельности двух человеческих языков: они специализированы, несводимы друг к другу и, как итог, самостоятельны. Иными словами, соматический язык — это не «около»-язык, сопутствующий верbalному языку и зависящий от него, а самостоятельный феномен.

Попытки ответа на вопрос, можно ли соматический язык отнести к сфере ведения параграфистики, заставили нас

¹⁴ Аветян Э. Г. Природа лингвистического знака. Ереван, 1968, с. 9.

¹⁵ Там же, с. 11.

подвергнуть анализу особенности двух языков, данных человеку, и прийти к итогу: соматический язык в силу его природы должен изучаться не подчиненной, а самостоятельной наукой¹⁶. Уяснив себе роль и место соматического языка в человеческой коммуникации, мы можем точнее определить свой предмет.

Постановка проблемы. Вербальный язык — это универсальное средство для отражения человеком окружающего его мира. Разумеется, и невербальный язык вполне может быть и на самом деле является объектом вербального отражения.

Для каждой тематической сферы отражаемого вербальным языком мира вырабатываются специализированные языковые единицы — слова, словосочетания, устойчивые фразы. Некоторые его языковые единицы закреплены за отражением жестов, мимики, поз, выражений лиц и симптомов. Предметом нашего внимания как раз и являются специализированные слова, словосочетания, фразы, отражающие соматизмы; назовем эти специализированные языковые единицы **соматическими речениями**.

Для дальнейшего изложения нужно провести границу между речевыми соматическими речениями и языковыми. Рассмотрим пример: «Надежда Васильевна строго посмотрела на брата. — Как это мило — за дверьми стоять и слушать, — сказала она и, подняв обе руки, сложила кончики мизинцев под прямым углом. Гимназист нахмурился и скрылся. Он пошел в свою комнату, стал там в угол и принялся глядеть на часы: два мизинца углом — это знак стоять в углу десять минут» (Сологуб. Мелкий бес). Соматизм, который здесь отражается, является результатом пред-

¹⁶ Среди исследователей невербальной коммуникации можно назвать римского ритора Квинтилиана, греческого ритора Атенея, немецкого философа Лейбница, основоположника эволюционного учения англичанина Дарвина, знаменитого немецкого психолога Вундта. Правда, к сожалению, общепринятое наименование науки, целенаправленно занимающейся соматическим языком человека, так и не возникло. Марио Пей предлагает пользоваться термином *пасимология* (*pasimology*). См.: Darwin Ch. *The Expression of the Emotions in Man and Animals*. London, 1972; Wundt W. *Völkerpsychologie: Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythus und Sitte*. Leipzig, 1904. B. 1, T. 1; Pei M. *The Story of Language*. New-York, 1966, p. 20; Lehmann A. *Die körperlichen Äußerungen seelischer Zustände*. Leipzig, 1898—1901; Knapp P. H. *Expression of the Emotions in Man*. New-York, 1963; Ekman P., Friesen W., Elisworth P. *The Face and Emotions*. New-York, 1971.

варительного договора, он отнюдь не известен всем членам русской языковой общности. Соответственно и соматические речения, описывающие соматизм, созданы автором в момент речи — словосочетания *сложить кончики мизинцев под прямым углом, два мизинца углом* не извлечены из памяти, а творчески образованы для показа индивидуального жеста. Перед нами речевые словосочетания, образованные по актуализированной в момент говорения синтаксической модели, т. е. в абсолютном смысле свободные словосочетания.

Большинство же соматических словосочетаний не создается в момент речи, а извлекается говорящим из памяти. Соматизм, который вербально описывается как *качать головой*, означает сожаление, недоверие, а также отказ: «Теперь пойдут иные речи!»/ Заметил весело один./ «Теперь нас ждут простор и слава!»/ Другой восторженно сказал,/ А третий посмотрел лукаво/ И головою покачал» (Пекрасов. Песня о свободном слове); «Что ж качаешь головою?/ Аль отказываешь нам?/ Аль товар не по купцам?» (Пушкин. Сказка о мертвый царевне и о семи богатырях). Если учесть приведенную выписку из Достоевского, то сразу же придется отклонить любое предположение о свободном характере словосочетания (*по)качать головой*. Словосочетания подобного типа (пожать плечами, наморщить лоб, кусать губы, хмурить брови, грозить кулаком, опустить глаза, повесить голову, клевать носом, чесать в затылке, положа руку на сердце, схватиться за голову, скрипеть зубами, стиснуть зубы, потирать руки и т. д.) обладают двумя важными признаками. Во-первых, они воспроизводятся, будучи усвоены в детстве как цельные знаки, точно так же, как и прочие языковые единицы. Во-вторых, они имеют массовую представленность: эти речения известны всем членам русской языковой общности.

Предметом нашего описания являются факты языка, т. е. языковые соматические речения¹⁷. Мы должны выявить возможности их лексикологического анализа, вскрыть механизм, с помощью которого кодируется неверbalная коммуникация и благодаря которому закодированные жесты, ми-

¹⁷ К сожалению, родовой термин *речение*, охватывающий слова, словосочетания и устойчивые фразы, т. е. явления языка, внутренней формой тяготеет к термину *речь*. Поскольку мы не хотели бы порывать с традицией (особенно лексикографической) и не можем отказаться от термина *речение*, обращаемся к читателям с предупреждением против возможной путаницы.

ника, позы, выражения лиц и симптомы воспринимаются адресатом.

Изложим некоторые частные наблюдения, а затем постаемся обобщить их в единой закономерности.

Один и тот же соматизм может быть выражен разными речениями. Простейший случай — варьирование синонимических членов в составе речения, причем совсем не обязательно с переменой его стилистической принадлежности. Ср. двоякое вербальное описание чувства подавленности и стыда: «Представители разбитого батальона переступали с ноги на ногу, даже не пытаясь оправдываться» (Островский. Как закалялась сталь); «...стояли смущенные, переминаясь с ноги на ногу» (там же). Отражаемый жест один и тот же, но в речении синонимичные глаголы заместили друг друга. Ср. далее: «По высокому месту лобному, /.../ Руки голые потираючи, / Палач весело похаживает» (Лермонтов. Песня про купца Калашникова); «Маленький доктор от удовольствия даже потер ладонь о ладонь.. любясь его огромным ... телом» (Куприн. В цирке). Здесь также жест не переменился от перемен в составе речения (на сей раз не по принципу синонимичности, а среди слов одинаковой тематической принадлежности). Эти примеры не содержат стилистических модификаций, но нередко взаимоизменяемые элементы имеют различную стилистическую приверженность, так что соответственно и все речение переходит из одного стиля в другой. Так, *моргать глазами* (от страха, растерянности) — стилистически нейтрально, а *хлопать глазами* — более низкого (фамильярно-разговорного) стиля: «Меня о чем-то спрашивают, а я (не понимая языка) только глазами хлопаю» (Тургенев. Заметки о Белинском). И уж совсем вульгарно звучит *хлопать зенками*. Ср.: опустить глаза /очи вниз/ долу; поднять/ воздеть палец/ перст; раскрыть/ разинуть рот/пасть; упасть / повалиться / бухнуться в ноги и т. д.

Многообразность верbalного отражения соматизма особенно ярко заметна, если привлечь к анализу индивидуально-авторские речения и сопоставить их с общеязыковыми¹⁸.

¹⁸ В добавление к сказанному раньше относительно речевых и языковых соматических речений приведем точку зрения К. С. Горбачевича и Е. П. Хабло (Словарь эпитетов русского литературного языка. Л., 1979, с. 7), которые считают словосочетание языковым, если 1) между его членами имеется устойчивая связь, 2) все словосочетание воспроизведимо и 3) словосочетание неоднократно употреблялось в речевых про-

Так, соматизм сближения бровей, выражающий озабоченность, тревогу, гнев, общязыковыми средствами объективизируется как *сдвинуть/ нахмурить / насупить брови*: «Но сурово брови мы насупим,/ Если враг захочет нас сломать» (Лебедев-Кумач). Индивидуально-авторские речения окказиональны, неповторимы: «И ложится упорная гневность/ У меня меж бровей на челе» (Блок. Знаю я твое льстивое имя); «Над бровями разом вырезались три морщины» (Гоголь. Страшная месть). Заметим, однако, что авторские соматические речения используются в художественной литературе довольно редко, видимо, потому, что не дают полной уверенности, что жест или мимика будут правильно опознаны: «Молодые бюрократы корчатся, хмурят брови, надсаживают свои груди, принимают юпитеровские позы» (Салтыков-Щедрин. Благонамеренные речи); «Она с нахмуренными бровями глядела на всех гостей» (Гончаров. Обломов); «Блестевшие из-под насупленных бровей глаза его говорили о решительности и упрямстве» (Островский. Как закалялась сталь).

Множественность речений, объективирующих один и тот же соматизм, возникает при смене адресатом точек зрения. Если, например, занята позиция агента (лица, исполняющего некоторый жест или принимающего позу), то обычно прямо называется действие. «— Ну, что она? — со вздохом спросил муж, понижая голос и поднимая брови» (Л. Толстой Три смерти). Если же адресат встал на точку зрения наблюдателя за агентом, то описывается впечатление: «Широкие брови еще выше всползли на гладкий и жирноватый лоб» (Полевой. Повесть о настоящем человеке). Этим обусловлена замена действительного залога страдательным: поднял брови — брови поднялись, опустил голову — голова опустилась, растопырил руки — руки растопырились и т. д.; ср. иные описания одного соматизма с разных позиций: заморгал глазами — глаза заморгали, закрыл лицо рукой — лицо было закрыто рукой, зажмурил глаза — зажмуренные глаза, покраснел — краска залила лицо, побледнел — потерял свой румянец: «— Вы с ума сошли! — вскричала она, теряя свой румянец, — Чек подавайте! Чек!» (Булгаков. Мастер и Маргарита).

изведениях. Общязыковые словосочетания в противоположность речевым (авторско-индивидуальным) допускают фиксацию в словарях языка; см.: Учебный словарь сочетаемости слов русского языка / Под ред. П. Н. Денисова, В. В. Морковкина. М., 1978.

Сюда, наконец, принадлежат случаи субъективного отражения, т. е. нацеленности сообщения не столько на адекватное представление факта, сколько на его личностную оценку. В подобных ситуациях люди, наблюдающие определенное выражение лица, жест, симптом, могут словесно по-разному их отражать. Восприятие говорящего, а не реальность сама по себе, лежит в основе гиперболических речений: глаза на лоб лезут, глаза из орбит выскоили, повесил язык на плечо, разинул рот до ушей; ср. тяпать головой — гиперболизированный жест у Салтыкова-Щедрина в «Истории одного города». Также: «Пройдет — словно солнце осветит! / Постмотрит — рублем подарит» (Некрасов. Мороз Красный нос); «Вдруг по вагону идет человек. Ястребом по всем сторонам, глаза — поглядит в молоко, молоко скиннет» (Белов. Плотницкие рассказы).

Таким образом, один и тот же соматизм допускает разнообразное вербальное отражение: варьируются лексемы в составе речения (как без перемены, так и с переменой стилевой принадлежности); речения могут существенно расходиться между собой; адресант может изменить свой взгляд на соматизм и вложить в речение собственное отношение к жесту или мимике, а также к их носителю. Поскольку один и тот же соматизм выражается различными речениями, между объектом отражения и соответствующим ему верbalным текстом нет однозначной связи, хотя определенный соматизм все же избирательно объективизируется обычно одним или двумя типичными речениями.

К мысли об отсутствии однозначной связи между соматизмами и соматическими речениями можно прийти, двигаясь в противоположном направлении.

Одно и то же речение способно обозначать разные соматизмы. Рассмотрим соматизмы, которые отличаются друг от друга обоими планами знака: и по форме, и по содержанию.

1. Правая рука согнута в локте параллельно полу, ладонь обращена вниз; резким движением рука опускается. Значение жеста — отказ от намерения, перемена (первоначального) решения.

2. Правая рука согнута в локте и кисть доведена до уровня плеча; резким движением рука опускается до уровня локтя в сторону собеседника. Значение жеста — призыв к собеседнику прекратить какое-либо действие. В приведенном примере Алеша Карамазов этим жестом остановил докучливые

приставания Ракитина. Любопытно, что махнуть можно не только рукой. Грушенька приготовилась танцевать, взяла в руки платочек, а помещик Максимов подскочил, чтобы плясать вместе с ней: «Но Грушенька махнула на него платочком и отогнала его» (Достоевский. Братья Карамазовы). Муж в спешке подошел к телефону босиком и ведет очень важный для него разговор; жена поднесла туфли: «— Туфлю надень, туфлю... Ноги простудишь... — на что Аркадий Аполлонович, отмахиваясь от жены босой ногой и делая ей зверские глаза, бормотал в телефон: — Да, да, да, как же...» (Булгаков. Мастер и Маргарита). Этот жест вербализуется также глаголом *отмахнуться* и словосочетанием *махать руками*. «— А ну, отступись! — отмахнулась Анфея, но мальчишка и сам уже забыл про свой вопрос» (Белов. Нилотницкие рассказы); «Анна Андреевна: — Что, Авдотья, ты слышала, там приехал кто-то?... Не слышала? Глупая какая! Машет руками? Пусть машет, а ты все бы таки его расспросила» (Гоголь. Ревизор).

3. Правая рука согнута в локте, ладонь поднята над головой и обращена от себя; ладонь совершает движения из стороны в сторону или вперед и назад. Значение жеста — приветствовать кого-либо, здороваться или прощаться. «— Кому ты помахал рукой? — Да это Петр Павлович, мой старый знакомый!» (Небольсин. На границе); «Провожать тебя я выйду — /Ты махнешь рукой» (Лермонтов. Казачья колыбельная песня).

4. Согнутая в локте рука кистью обращена к собеседнику; производятся движения кистью к себе и от себя; вместо кисти могут действовать палец, платок, палка, зонт и т. д. Жест означает: подойдите сюда, подойдите поближе! «Анна Андреевна. (Машет платком) Эй вы, ступайте сюда! скрее!» (Гоголь. Ревизор). «Те же и Осип. Все бегут ему на встречу, кивая пальцами» (там же). Смердяков о Грушеньке: «Стоило этой барыне вот так только мизинчиком перед ними сделать, и они бы тотчас в церковь за ними высуня язык побежали» (Достоевский. Братья Карамазовы). Этот жест отражается также глаголами манить, мигнуть (пальцем) и даже звать: «Увидав Митю, она /Грушенька/ поманила его к себе» (там же); «Бобчинский. А Петр-то Иванович уже мигнул пальцем и подозвали трактирщика-с» (Гоголь. Ревизор).

5. Всевозможные условные жесты, которые в силу их многообразия не поддаются однозначному описанию и име-

ют контекстуальное значение — отойди, подойди, унеси, принеси, убери, дай и т. д. «Алеша махнул из дверей кучеру, и карета /.../ подъехала к выходным дверям» (Достоевский. Братья Карамазовы); «Каган махнул слугам рукой, они унесли поднос назад» (Воскобойников. Братья); «— Пешто не пойдешь? — Куды? — На помощь! — Куда мне! — махнул рукою лесник, пожимаясь всем телом» (Чехов. Беспокойный гость).

Таким образом, одно речение способно выражать несколько соматизмов; мы разобрали случай, когда соматизмы отличаются друг от друга и формой и содержанием. Переходим к соматизмам, которые при одинаковой или близкой внешней форме имеют различную семантику, т. е. к соматизмам-омонимам и к полисемантичным соматизмам. Жесты, мимические движения или симптомы многозначны, видимо, в большей степени, чем слова верbalного языка; их семантическая диффузность делает роль контекста для адекватного понимания невербальной информации чрезвычайно важной.

Так, рукопожатием выражается 1) жест приветствия при встрече или прощании: «На берегу мы расстались друзьями; оба пожали мне руку» (Форш. Одеты камнем); 2) рукопожатием примиряются: «— Подай ему руку. Прости его. — Алексей Александрович подал ему руку» (Толстой. Анна Каренина); 3) рукопожатием (без слов или со словами) выражают благодарность: «— Спасибо вам за все, Евгений Навлович, — проговорил Пикита, несильно пожимая его сухую, костистую руку» (Бондарев. Родственники); 4) рукопожатие означает одобрение каких-либо качеств и поступков человека: «— Милый Сережа, как я рад, что в вас не опиняся! — Шувалов пожал мою руку» (Форш. Одеты камнем); 5) обмениваясь рукопожатием, люди скрепляют договор, достигнутое взаимопонимание: «Мы скрепили это решение клятвенным рукопожатием» (Пикитин. Рассказ о первой любви); 6) отказ от рукопожатия, напротив, означает нежелание иметь дело с собеседником, резкое неодобрение его поступков: «— Дмитрий Карамазов, как свободный еще человек, протягивает вам свою руку. ... Он действительно протянул было руку, но Николай Парfenович ... почти судорожным каким-то жестом припрятал свои руки назад. Митя заметил это и взрогнул. Протянутую руку свою он тотчас же опустил» (Достоевский. Братья Карамазовы); 7) рукопожатие передает, наконец, чувство симпатии, любви:

«...Пожатием нежным / руки белоснежной» (либретто оперы «Иоланта» Чайковского).

Семантика, выражаемая соматизмом, расплывчата, диффузна¹⁹, поэтому ее расчленение разными исследователями может привести к различным результатам. Все эти семь соматизмов вербализуются одинаковыми речениями: пожать руку, рукопожатие, обменяться рукопожатием, подать руку, протянуть руку. Это не свидетельствует против тезиса, что одно вербальное описание может сопрягаться с различными кинемами; каждое из пяти речений по отдельности способно описать любой из семи жестов: пожать руку на прощанье, пожать руку в знак прощения обид, пожать руку из чувства благодарности, пожать руку защитившему диссертацию и т. д.

Анализ примеров *махнуть рукой* и *пожать руку* убеждает в исключительной роли контекста, без которого нельзя понять, какой именно жест исполняется. Эта недостаточность соматического речения ощущается не только адресатом, но и самим адресантом. Поэтому адресант нередко прямо или косвенно поясняет, в каком смысле следует понимать описываемый жест или симптом: «Зельцер понимающе посмотрел на него и в отчаянии махнул рукой» (Островский. Как закалялась сталь). Если в этом примере смысл жеста назван прямо, то в следующем его надо вывести из вербального контекста: «Городничий. Теперь: «не погуби!», а прежде что? Я бы вас... (Махнув рукой) Ну, да бог простит! полно! Я не памятозлобен: только теперь смотри держи ухо востро!» (Гоголь. Ревизор); контекст недвусмысленно указывает на интерпретацию жеста как знака перемены первоначального намерения²⁰.

Способность одного и того же слова или словосочетания выражать различные по исполнению и по семантике соматические состояния и движения заставляет отрицать наличие однозначной и обратимой связи между определенной кинемой и определенным речением. Все же качество кинемы bla-

¹⁹ Эта диффузность семантики соматизмов отмечалась неоднократно. Так, Р. Р. Гельгардт справедливо пишет, что «у кинем семантические границы менее четко очерчены и более размыты», чем у вербальных знаков, «что создает их семантическую емкость». См.: Гельгардт Р. Р. Указ. соч., с. 112.

²⁰ Р. Р. Гельгардт так говорит о роли контекста: «...без словесного комментирования жест нельзя понять именно в той смысловой функции, в какой читатель должен его декодировать» (Указ. соч., с. 119).

годаря речению можно себе представить — хотя бы в некоторых чертах.

Имеется, однако, группа таких речений, которые, будучи безусловно соотнесенными с мимикой, жестикуляцией, позами, выражениями лиц и симптоматикой человека, не позволяют даже отдаленно догадаться, какое именно движение выполняется или что именно в статичном облике имеется в виду.

Речение может отражать не форму, а смысл соматизма. Как и другие знаки, кинема имеет план выражения и план содержания, а в вербальном представлении соматизм иногда элиминируется как раз в своем внешнем аспекте. «Мой сосед хотел что-то возразить ему, но старший садовник сделал жест, означавший, что он не любит возражений» (Чехов. Рассказ старшего садовника). Какой именно жест выполнил садовник? Речение таково, что адресат не «видит» соматизма, хотя и улавливает, что некоторое содержание было передано неверbalным способом²¹.

Прибегая к непосредственно ориентированным на смысл речениям, адресант принимает точку зрения не носителя соматизма, а стороннего наблюдателя. «Когда мы возвращались с кладбища, то у нас были скромные постные физиономии» (Чехов. Человек в футляре). Писатель не характеризует мимики, а прямо сообщает о впечатлении, которое она производила на наблюдателя. Когда используются гиперболические и зооморфные соматические речения, то также передается содержание, а не внешняя форма жеста или мимики. «Тентелеев взял шляпу, да поджавши хвост и улизнул» (Тургенев. Дым). Речения типа «Алешка состроил шутовское лицо» (Эртель. Гарденины). «Прозоров остановился... в трагической позе» (Мамин-Сибиряк. Горное гнездо), «... с каменным лицом выслушал он мои робкие возражения» (Каверин. Два капитана) рассчитаны на сообразительность адресата, который сам должен представить себе лицо шута, трагическую позу или окаменевшую неподвижность мимики.

Следовательно, соматизмы вербальными средствами отражаются двояко. Пусть речения, отражающие соматизм со стороны внешней формы, называются эйдетическими

²¹ Ср.: «Если б мне стали открывать теперь секреты, то я, кажется, заткнули бы уши и не захотел слушать ничего дальше» (Достоевский. Бесы).

(от греч. *eidos* 'образ'); тогда речения, которые отражают соматизм в содержательном плане, ориентированы на смысл, можно было бы назвать сенсуальными. Эйдетические и сенсуальные соматические речения вступают в отношения частичного параллелизма: они либо одновременно встречаются в едином вербальном сообщении, либо могут взаимозаменяться; ср. эйдетическое описание «Борис потер указательный палец большим, — денежки платить надо» (Леонов. Костров. Операция «Викинг») с сенсуальным отражением того же поведения — «жестом показал, что надо платить денежки».

Параллелизм эйдетического и сенсуального описаний чаще наблюдается применительно к мимике, чем к другим соматизмам: улыбнулся уголками губ —держанно улыбнулся; губы широко растянулись в улыбке — радостно улыбнулся и т. д. Иногда параллелизм нарушается в пользу либо эйдетических, либо сенсуальных речений, доходя даже до взаимной непереводимости. Когда речь идет о нюансах смысла, передаваемых соматически, сенсуальные речения скорее достигают цели, чем эйдетические. Так, улыбка может быть названа вопросительной, восхищенной, грустной, дурацкой, задумчивой, застенчивой, хитрой, романтической, коварной и т. д.; эйдетически указать на разницу между вызывающей и дерзкой улыбками было бы возможно только при большом многословии. Эта разница не всегда и улавливается наблюдателем: «По лицу ее пробегала не то лукавая, не то мечтательная улыбка» (Полторацкий. В дороге и дома). Если соматизм сложный и многосоставный, то также предпочтитаются сенсуальные описания: «Гость сделал жест, означавший, что он никогда и никому этого не скажет, и продолжал свой рассказ» (Булгаков. Мастер и Маргарита).

Отмечаются и предпочтения эйдетических речений. Если вербально отражаемый соматизм многозначен и адресант желает опереться сразу на два или даже три смысла, то он скорее опишет симптом, жест или позу, чем даст их истолкования. «Он сидел напротив меня в кресле, опустив голову, подняв худые плечи» (Каверин. Два капитана). Опустить голову можно от стыда, раскаяния, печали, в задумчивости, выражая сострадание собеседнику и т. д.; здесь эти чувства экономно выражены эйдетическим сочетанием всего двух слов. «Они давно уже с приятелем переговорили обо всем и уже давно перекладывали разговор весьма длинными молчаньями, слегка только потреп-

ливая друг друга по ляжке» (Гоголь. Шинель). Опять-таки чувства, владевшие приятелями (расположения, фамильярности, может быть, и скуки) трудно рационально обозначить, почему и воспроизведен образ, а не смысл.

Эйдетические речения не переводятся в сенсуальные и тогда, когда соматизм не обладает четко ограниченной семантикой или, напротив, если его семантика слишком конкретна и модифицирована в уникальной речевой ситуации. «— Вы — человек бедный... Ведь вы — человек бедный? Буфетчик втянул голову в плечи, так что стало видно, что он — человек бедный» (Булгаков. Мастер и Маргарита).

Если эйдетическое речение в восприятии адресата можно уподобить семасиологическим отношениям в лексике, т. е. движению от формы к содержанию (например, сделать поклон или кивнуть головой значит поздороваться), то сенсуальное описание подобно ономасиологическому процессу, потому что, отправляясь от содержания, адресат должен восстановить жестикуляцию, мимику или другой соматизм. Потенциально все синонимичные соматизмы могут быть восстановлены: сенсуальная фраза «молча поздоровался» потенциально переводится в несколько эйдетических — подал руку, обменялся рукопожатием, помахал рукой, кивнул головой, сделал / отвесил поклон, (при)поднял шляпу.

С одной стороны, эйдетические и сенсуальные речения близки друг другу двуплановостью («двухэтажностью») своей семантики, но, с другой стороны, противоположны порядком следования обоих планов («этажей») информации; ср. эйдетический способ отражения жеста: «Британский лев, держи нейтралитет, / блудливые глаза прикрой стыдливой лапой» (Маяковский. На цепь!). Здесь сначала описано кинетическое поведение само по себе (глаза прикрыты ладонью), и только потом адресант воспринимает душевное состояние, выраженное жестом (глаза спрятаны от стыда). Еще пример: «— Так что же делать! Ах, боже мой! — Муж закрыл глаза рукою» (Толстой. Три смерти). Жест передает горе и отчаяние человека. Наконец: «Завидев вооруженного всадника, люди /..., прикрывая глаза натруженными ладонями, долго смотрели вслед» (Фадеев. Разгром). Симптом (перед нами не жест, так как движение направлено на pragmaticеское, самодостаточное действие) говорит о внимательном рассматривании проезжающего человека. Во всех примерах адресат переходит к смыслу лишь после того, как восприня-

та внешняя форма соматизма. В случае сенсуальных речений смысл соматизма адресат воспринимает непосредственно и далеко не всегда восстанавливает в своем сознании его внешнюю форму.

Если перед нами не массово распространенный соматизм, если мы не уверены, что соматизм, который хотим вербально представить, заведомо всем хорошо знаком, то надо обрисовать его форму с большой словесной детализацией.

Соматизмы выражаются речениями различной степени экспликации. Вот как описан жестово-мимический план публичного чтения державинской оды «Бог»: «'Я царь' — солдатская выпрявка, строгое лицо, плечи приподняты, обе руки на высоте груди, одна зажата в кулак, другая полураскрыта ладонью вверх. Предполагается: в одной скрептр, в другой — держава. 'Я раб' — ноги, согнутые в коленях, руки повисли, голова опущена, лицо печальное. 'Я червь' — спина и шея продольно искривлены, вытянутая вперед рука делает 'ползательные' движения. 'Я бог' — голова откинута вверх, глаза выпучены, руки распахнуты, обнимая весь мир» (Бажов. Дальнее — близкое).

Писатель столь детально описывает невербальное поведение читающего патетические стихи, чтобы передать его театральную жестикуляцию, не встречающуюся в повседневной жизни. На предшествующий опыт, на фоновые знания²² можно рассчитывать лишь в случае речений, которые отражают массово распространенные обычные соматизмы, для восстановления которых не нужен словесный ряд и достаточно экономично-краткого напоминания — часто даже об одном не всегда самом характерном элементе соматизма. Например, состояние сильного огорчения обнаруживается так: глаза смотрят вниз и в одну точку (взгляд застыл); лицо напряженное, как маска; голова наклонена вперед; брови наспущены. Общеязыковое устойчивое эйдетическое речение передает лишь один элемент этого соматизма (причем с вариантами: повесить голову/нос): «Что, Иванушка, невесел? / Что головушку повесил?» (Ершов. Конек-горбунок); «Все чувства в Ленском помутились, / И молча он повесил нос» (Пушкин. Евгений Онегин).

Словосочетания, описывающие соматизмы, обычно состоят из глагола и имени (двух имен); четырехместные речения,

²² Относительно фоновых знаний см. в наших работах: Язык и культура. М., 1976, с. 208 и след.; Лингвострановедческая теория слова. М., 1980, с. 20 и след.

как правило, не остаются эйдетическими, а включают в себя сенсуальные элементы (например, закрыть руками лицо от ужаса и т. д.). Двухместные эйдетические речения распространены широко (только со стержневыми словами *рука* или *голова* их по нескольку десятков). «Мы в глаза друг другу глянем. / Руки жаркие сплетем» (Исаковский. Лучше нету того цвету. *Сплести руки* — выражение дружбы и любви; синонимы: взяться за руки, держаться за руки); «И давно уже в целой России простирают руки и взывают остановить бешеную, беспардонную скачку» (Достоевский. Братья Карамазовы. Выражается мольба; синоним: протягивать руки к кому-либо); «Зачем живет такой человек! — глухо прорычал Дмитрий Федорович, /.../ указывая на старика рукою» (там же. Означает привлечение внимания; синоним: указывать пальцем); «Я /.../ поцеловал руку ее с истинным чувством сына» (Форш. Одеты камнем. Это устаревший этикетный жест при приветствии и прощании); «После того, как Федор Павлович плонул на образ, его жена «вскочила, всплеснула руками, /.../ вся затряслась и пала на пол» (Достоевский. Братья Карамазовы. Жест означает отчаяние, ужас, возмущение, негодование); «Народ поднял вверх руки: Мирослав был избран» (Карамзин. Марфа-посадница. Поднятие рук означает голосование); «Городничий (протянув руки по швам). Желаю здравствовать!» (Гоголь. Ревизор. Это военный жест почтения); «На днях я опять читал про одного нищего, ходившего по трактирам и протягивавшего там руку. Его арестовали и нашли при нем до пятидесяти тысяч» (Достоевский. Подросток. Здесь внешнее проявление попрошайничества); «Что же мы будем делать? — Узнаю Вас в этом вопросе. Вы никак не можете сидеть сложа руки» (Тургенев. Дворянское гнездо. Означает позу бездельника). Ср. также: ударить по рукам, подать руку, соединить руки, отнять руку, взять / вести за руку, сделать рукой, взять руки, взять под руку / под руки, из рук в руки, лизать руки, отдать руку / и сердце, поднять руки и т. д.

Рассмотрим ряд общеязыковых трехместных эитетических словосочетаний с тем же ключевым словом: «Послал ему рукой поцелуй» (Достоевский. Братья Карамазовы. Жест выражает привет, дружбу); «Что ты, подожди, оплакивать, — улыбнулся старец, положив правую руку свою на его голову» (там же. Перед нами устаревший жест благословения); «Он облокотился на стол и подпер рукой

голову» (там же. Так, обозначается печаль, тяжелые думы, физическая усталость); Старый профессор не находит номерка от гардероба: «Ну что такое? Где же этот номер? / А может быть, не брал у вас я номер? / Куда он делься? — Трет рукою лоб» (Евтушенко. Окно выходит в белые деревья. Это жест напряженного припоминания). Четырехместные словосочетания (со всеми обязательными элементами) в общеязыковом употреблении не встречаются²³.

Если двух- и трехместные словосочетания манифестируют нормальную степень общеязыковой экспликации соматизма, то однословные речения понижают степень экспликации: кивнуть, нахмуриться, подбочениться, отмахнуться, насупиться, надуться, покраснеть, наморщиться, скоситься, мигнуть, бычиться и т. д. Нулевая степень экспликации наблюдается, когда отражающее соматизм речение является фразеологизмом. Придурковатого, со странностями человека обозначают жестом: правая рука согнута в локте, все пальцы, кроме указательного, собраны в кулак, указательный вытянут; указательный палец приближается к виску и делает два-три круговых движения. Речение-фразеологизм (*У него*) не все дома никак не эксплицирует внешней формы жеста (*покрутить пальцем у виска*). Ср. другие кинематические фразеологизмы — нужен дозарезу (ладонь проводится под подбородком), вот те крест (с биением себя в грудь), скатертью дорога (указывая пальцем на дверь), милости просим (с жестом приглашения проходить), вот где сидят (похлопывая себя по затылку) и т. д.: «Вот где они у меня сидят, эти интуристы! — интимно пожаловался Коровьев, тыча пальцем в свою жилистую шею» (Булгаков. Мастер и Маргарита).

Нулевая степень экспликации отмечается и тогда, когда жест имеет специальное вербальное обозначение. Например, один из известных русских жестов описывается так: «показывают сложенную в кулак руку с большим пальцем, просунутым между указательным и средним»²⁴. Жест этот называется более или менее нейтрально *кукиши* или стилистически сниженно *фиг(а)*: «Разве не дразнили меня языком? Не показывали мне ежечасно шиши и кукиши? Если и не

²³ Г. Л. Пермяков указывает 168 устойчивых словосочетаний со словом *рука*, причем все они восходят к жестам. См.: *Permyakov G. L. From Proverb to Folk-Tale.* M., 1979, p. 193—203.

²⁴ Гельгардт Р. Р. Указ. соч., с. 108.

показывали их физически, то все равно, это были нравственные кукиши» (Достоевский. Село Степанчиково); «Раб с головы до ног, в то же время старающийся, с помощью целой системы показываемых в кармане кукишай, обратить свое рабство в шутку» (Салтыков-Щедрин. В среде умеренности); «Глядит в книгу, а видит фигу» (пословица). Естественно, сенсуальные речения всегда имеют нулевую экспликацию.

Максимальная же экспликация регулярно имеет место в научных фиксациях соматизмов, вообще в тех жизненных случаях, когда требуется не напоминать адресату о жесте или мимике, а представить ему соматизм точно и недвусмысленно (ср. «иконописные подлинники», в которых тщательно описаны поза, положение рук и выражение лица каждого святого).

Эйдетическое речение передает значение соматизма полностью. В отличие от сенсуального эйдетическое речение независимо от степени экспликации позволяет адресату «увидеть» соматизм внутренним взором, и при этом воспринимается не семантика буквального плана речения, а значение соматизма. Так, *смотреть в глаза кому-либо* на уровне смыслов, выводимых из слов словосочетания, означает направить свои глаза на глаза собеседника; однако адресат обычно не остается на этом уровне, а воспринимает смысл «быть искренним», свойственный не речению, а именно соматизму-жесту. Буквальный смысл выходит из светлого поля сознания: «Что может, говорит Полкан, приятней быть... / В глаза глядеть друг другу» (Крылов. Собачья дружба).

Речения *прятать глаза, отвести глаза, опустить глаза, глядеть в сторону, потупить взор* и т. п. на прагматическом уровне восприятия информации обозначают определенное действие: «Ракитин... не любил встречаться с Алешей, почти не разговаривал с ним, даже и раскланивался с натугой. Завидя теперь входящего Алешу, он особенно нахмурил брови и отвел глаза в сторону, как бы весь занятый застегиванием своего большого... пальто» (Достоевский. Братья Карамазовы). Однако значительно чаще эти речения объективируют соматизмы: «Да неужто же и ты с маловерны-ми?.. Алеша остановился и как-то неопределенно взглянул на отца Пансия, но снова быстро отвел глаза и снова опустил их к земле» (там же). В этом случае Алеша не просто не хочет смотреть на собеседника, он не хочет ска-

зать ему всей правды; ср: «Она умоляюще и вопросительно посмотрела на мужа. Он опустил глаза и молчал» (Толстой. Три смерти).

Два антонимичных жеста *смотреть в глаза* и *отвести глаза* выступают и в осложненном виде. Если один из собеседников хочет побудить другого к искренности, он начинает ловить его взгляд: «Она пристально ждала и ловила его взгляд. /.../ Поймав же его взгляд, расхохоталась» (Достоевский. Братья Карамазовы); «Я не верю, не верю этому! — проговорила Долли, стараясь уловить его избегающий взгляд» (Толстой. Анна Каренина).

Обратим внимание на то, что речение *опустить глаза* может описывать не только динамичный жест, но и статичное выражение лица. Например, Жюльену Сорелю пришлось потратить много усилий, чтобы заставить себя всегда появляться в семинарии с опущенными глазами: «...не без причины в этих местах ходят опустив глаза долу» (Стендаль. Красное и черное). Отсюда дальнейшее развитие семантики соматизма: человек с постоянно потупленным взором (например, Иудушка Головлев) воспринимается как лицемерный святоша.

Не случайно, что при анализе семантики соматических речений постоянно приходится говорить о семантике самих соматизмов: речение лишь напоминает о жесте, позе, минике, выражении лица или симптоме — в этом заключается его последующая функция. Хотя само речение не более как передает информацию pragматического характера, все же правильно утверждать, что с помощью эйдетических речений значение соматизма сообщается адресату полностью.

Условие адекватной передачи информации — предварительная известность семантики соматизма. Если же это условие не выполнено, то речение само по себе не способно сообщить адресату подлинный смысл сообщения. В «Разгроме» Фадеева рассказывается о рождении в многодетной шахтерской семье (события относятся к дореволюционной России) еще одного ребенка: «Значит, четвертый... — поды托ил отец покорно и махнул рукой. — Веселая жизнь». Зарубежные студенты-русисты из одной азиатской страны, в которой многодетность, особенно обилие сыновей, почитается за счастье, ознакомившись с текстом, утверждали, что отец, конечно же, был очень и очень рад. Противореча-

щий ироническим словам жест не был известен заранее и соответственно не был воспринят²⁵.

Еще пример: Лейтенант Дуб опустил вниз большой палец правой руки; Швейк не понял, почему он «указывает пальцем на землю» (Гашек. Приключения бравого солдата Швейка). Вообще иностранные жесты и другие соматизмы с помощью речений передаются только на pragmatическом уровне. Русскому читателю, как и Швейку, надо, видимо, предварительно объяснить, что *pollice verso* (большой палец вниз) — значащий жест: «Когда в Колизее победивший гладиатор склонялся над побежденным противником, римская публика либо поднимала большой палец руки вверх, требуя помилования лежащего, либо обращала его вниз, в знак того, чтобы победитель добил раненого»²⁶.

В русской национальной культуре представлено определенное количество заимствованных соматизмов, которые, кстати, нередко сами о себе заявляют, потому что содержат в своих наименованиях специфицирующие атрибуты: гомерический смех, сардонический смех, олимпийское спокойствие, панический ужас, взгляд василиска, взгляд Медузы, поцелуй Иуды, улыбка Джоконды. Ряд заимствованных жестов не исполняется, да может быть, и не исполнялся никогда, благодаря чему их иностранное происхождение присутствует в сознании образованных членов языковой общности; ср. библейские соматизмы: плач и скрежет зубов, лицом к лицу, носить на руках, не взирая на лица, умыть ноги, бросить в кого-либо камень и т. д.

Итак, речение само по себе не может передать семантики соматизма, оно лишь вызывает в сознании адресата образ жеста или позы, а эти последние передают информацию, закодированную невербально. Предварительное владение соматизмом — непременное условие восприятия человеком невербальной информации. При овладении иностранным

²⁵ Гореликова М. И. Лингвистический анализ художественного текста в процессе изучения русского языка как иностранного. — В кн.: Русский язык / Для студентов-иностраниц. М., 1976, вып 16, с. 149 и след.

²⁶ Овручкий Н. О. Крылатые латинские изречения в литературе. Киев, 1962, с. 133. Интересно, что данная латинская жестикуляция воспринята в английской языковой общности: опущение большого пальца вниз означает неодобрение чего-либо, а поднятие вверх — одобрение. См.: Смирнова Н. И. Невербальные аспекты коммуникации: На материале русского и английского языков: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1971, с. 137.

языком в его вербальной модальности невербальный иностранный язык отнюдь не усваивается, так что необходимы сознательные и целенаправленные усилия по овладению соматическим языком. Для владеющего соматическим языком общеязыковые соматические речения выполняют «напоминающую» функцию, причем речение передает значение соматизма полностью — сразу во всех его смыслах и со всеми обертональными (стилистическими, ситуативными) оттенками. Это касается, конечно, эйдетических речений, отражающих наглядные образы; сенсуальные слова и словосочетания сообщают адресату как раз только об одной определенной семе полисемантического соматизма.

Наряду с центральным значением в соматизмах обнаруживаются дополнительные, накладывающиеся на основные: приветствие, например, обозначается рядом жестов (махнуть рукой, кивнуть головой, приподнять брови, поклониться, приподнять шляпу, обменяться рукопожатием, расцеловаться и т. д.), однако каждый из них привязан к ситуативно-этикетным характеристикам и имеет определенную стилистическую тональность. Среди обертональных сем соматизма *подать руку* можно назвать такие: признание адресата рукопожатия равным себе (в противном случае в прошлом подавали палец, а сейчас ограничиваются кивком головы); выражение нормальных или дружеских отношений между приветствующими друг друга. Если из числа возможных выбирается какой-либо определенный жест, то этот выбор всегда информативен: Тоня встретилась с Павкой после большого перерыва: «И вот этот оборванец [...] Ей даже неудобно было подать ему руку. Что подумает Василий?» (Островский. Как закаллялась сталь). Павка совершенно правильно воспринял обертональную информацию: «Два года назад ты была лучше: не стыдилась руки рабочему подать» (там же). Ср.: «Войдя в комнату, он щегольски расшаркался с дамами и подал Гельфрейху руку, мне же сделал только безмолвный поклон» (Гаршин. Надежда Николаевна). Жесты *шаркнуть ногой*, *подать руку*, *сделать поклон* синонимичны на уровне основного значения, но отнюдь не синонимичны из-за дополнительной, выступающей здесь на первый план обертональной семантики. Сенсуальное речение (вошедший в комнату приветствовал присутствующих) не было бы выразительным, потому что для писателя важно показать, что его персонаж галантен с дамами, что он позитивно выделил одного из гостей и не очень

вежливо отнесся к другому. Ситуативно-этикетная информация адекватно передается эйдетическими речениями, сенсуальные же речения подобную информацию не воспроизводят.

Для постижения механизмов отражения речениями семантики соматизмов интересен разбор не только ситуативно-этикетных, но еще и стилистических обертонов их основных значений. Скажем, все жесты оскорблений и даже подразнивания имеют низкую стилистическую тональность: натянуть нос, показать язык, показать фигу /дулю/ кукиш /шиш, особенно в сопровождении восклицанием «Накось, выкуси!» (Форш. Одеты камнем). Однако можно ли причислить к сниженным речениям, объективирующие эти жесты? Едва ли, потому что речения сами по себе принадлежат к нейтральному стилю. «— Высуньте язык!», «— Покажите язык!» в устах врача стилистически нейтральны. Однако: «Когда проходил мимо их порядочный человек, Ванюша показывал ему язык, бегал за ним и изо всей силы кричал: пьяница, урод, развратник! зубоскал, писака!»²⁷ (Пушкин). Нейтральное само по себе речение как бы заражается стилистикой соматизма, отражаемого им.

При отражении соматизмов, нейтральных по объективным признакам, обычно сознательно выбираются речения разной стилистической принадлежности. «С предписанием осмотреть всю губернию и особенно наш уезд (значительно поднимает палец вверх)» (Гоголь. Ревизор). Перед нами нейтральный жест привлечения внимания; его можно описать, однако, при помощи стилистически высоких средств (воздел перст), что изменит стилистику всего телесного движения в сознании адресата. Именно адресант устанавливает стилистическую принадлежность вербализующих речений и в конечном итоге задает восприятие второго участника коммуникативного акта. Ср. стилистические ряды: сделать / состроить гримасу / рожу, склонить рожу; поднимать / воздымать руки / длани; раскрыть / выпучить / выпялить глаза / шары / бельмы / зенки; поднять / возвести глаза / очи к небу / горе; покраснеть, зардеться, побагроветь и т. д. «— Что вылупили шары-то на меня?» (Горький. В людях); «Дважды воздымал руки, как распятый» (Булгаков. Мастер и Маргарита); «Лазурны очи опустя / В объятиях Вадима, / Она, как тихое дитя, / Лежала недвижима» (Жуковский. Вадим). Стилистический

²⁷ Цит. по: Словарь языка Пушкина, т. II.

регистр соматического речения иногда не отражает подлинную стилистику соматизма, а привносит ее, отражая точку зрения и оценки адресанта.

Все же стилистическая окраска речения не всегда произвольна по отношению к соматизму и иногда отображает интенсивность исполнения того или иного движения, степень или глубину состояния. «В его присутствии робели все, даже старики протонерен, все 'бухали' ему в ноги» (Чехов. Архиерей). Речения *отвесить земной поклон, поклониться в ноги, упасть в ноги* и, наконец, *бухнуть(ся) в ноги* отражают не только возрастание стилистической окраски, но и увеличение интенсивности исполнения одного и того же по центральному значению жеста. Таким образом, вербальный язык не просто «зеркально» отражает соматизмы, но способен активно привнести дополнительную и важную внешнюю информацию.

Все же нельзя не признать, что в парном соотношении «соматизм — речение» именно соматизм, а не речение занимает ведущее место; значения речения — как основное, так и обертональные — не являются его собственными и восходят к мимике или жесту. Завершая синхронное рассмотрение природы соматизмов и закономерностей их отражения вербальными речениями, логично обратиться к некоторым диахронным вопросам.

Универбализация и фразеологизация соматических словосочетаний. Уже упоминались отражающие соматизмы отдельные слова (побледнеть, мигнуть, нахохлиться). Хотя среди общязыковых соматических речений словосочетания (обычно двусоставные) образуют основной массив, заметную роль играет их универбализация. Наблюдается, во-первых, отпадение одного из элементов (как правило — имени): вешаться на шею — вешаться, зевать по сторонам — зевать, барабанить пальцами — барабанить, кивнуть головой — кивнуть и т. д. Ср. полное речение во фразе «слегка барабанит двумя пальцами по лбу», выраждающее задумчивость (Чехов. Тесс!), с универбом на его месте во фразе «Начальник конторы нетерпеливо барабанил по столу» (Кожевников. Живая вода).

Во-вторых, наблюдается перемена залога и префиксальная деривация глагола при отпадении имени: хмурить брови — нахмуриться, морщить нос — наморщиться, упереть руки в боки — подбочениться, сделать поклон — поклониться, скалить зубы — скалиться, скривить губы — скривиться

и т. д. Ср. две фразы — со словосочетанием и с универбом: «Что ж? Сене от того прибыток вышел мал./ Он, бедный, на низу облизывал лишь губки./ Федюша сам вверху каштаны убирал./ А другу с дерева бросал одни скорлупки» (Крылов. Два мальчика); «Были в монастыре... откормленные сизые голуби, на которых облизывались кошки» (Иванов. Когда я был факиром).

В-третьих, универбализация иногда приводит к номинализации глагольных словосочетаний, к возникновению названий лиц по характерному для них соматизму: скалить зубы — зубоскал, смотреть по верхам — верхогляд, разевать рот — зевака; приложить руку — рукоприкладство, бить челом — челобитье и т. д.

В диахроническом отношении словосочетание способно стягиваться в одно слово. Другой диахронический процесс, которому подвергаются соматические словосочетания, — фразеологизация. Фразеологизм — это не сводимая ни к словам, ни к языковым афоризмам самостоятельная строящая (непосредственно соотнесенная с внеязыковой действительностью) языковая (массово воспроизведимая) единица, обладающая синтаксически членимой формой, формой словосочетания, и исполняющая во фразе единую синтаксическую функцию члена предложения; фразеологизму присуща реальная семантика (номинативность) лексического характера, не выводимая из (нередко сохраненной) семантики каждого компонента единицы²⁸. Прототипом фразеологизма обычно бывает обыкновенное языковое словосочетание, смысл которого возникает путем прибавления к смыслу первого слова смысла второго и т. д.

Соматизмы внесли во фразеологический состав русского языка свою, и немалую, долю. Некогда существовал суеверный обычай пальцем очерчивать круг у головы в минуту опасности для ее защиты; жест давно забылся, словосочетание больше не расчленяется и стало фразеологизмом со значением 'безрассудно, не думая о последствиях'²⁹. Подчеркнем: жест больше не исполняется, и в речении *очертя голову* больше нет соматического смысла, т. е. оно не возобновляет в нашем сознании никаких телесных движений. Ср.

²⁸ См. подробнее: Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Состав семейства лингвострановедческих словарей: Фразеологический словарь. — В кн.: Лингвострановедение и словари (в печати).

²⁹ Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А. И. Молоткова. М., 1967, с. 307.

другие фразеологизмы соматического происхождения: отрясти прах с ног своих, быть челом, вверх тормашками, выделять мыслете, стоять фертом, засучив / спустя рукава, надевать личину, ломать шапку, наше вам с кисточкой! и т. д. Во всех этих примерах налицо все категориальные признаки фразеологизмов: самостоятельность, строевой характер, масовая воспроизведимость, цельность семантики (аналогичная семантике слова) и ее невыводимость из состава слов. Все эти единицы в наши дни не употребляются для отражения соматических действий или состояний.

Фразеологизация соматических речений — закономерный результат развития как неверbalного языка (из которого соматизмы вышли или выходят), так и верbalного (в котором соматические речения теряют свою прямую семантику). Вышеупомянутый «Фразеологический словарь русского языка» к фразеологизмам относит ряд соматических речений: крутить носом, повернуться спиной, показывать кукиш в кармане, положа руку на сердце, пялить /таращить глаза, раскрыть рот, смягчить очи, хлопать глазами, стиснув зубы, чесать в затылке, вешать голову / нос, впиваться глазами в кого-либо, глаза на лоб лезут, делать большие глаза, есть / поедать/ пожирать глазами и т. д. Эти речения принадлежат к числу обычных языковых — они устойчивы, воспроизводимы, но отнюдь не соответствуют всем категориальным признакам фразеологизмов, содержащимся в определении и постулированным также и составителями словаря.

Главный категориальный признак, которого лишены речения типа *махнуть рукой*, — цельность семантики. Допустим, что для этого словосочетания в самом деле характерна семантика «перестать обращать внимание, перестать заниматься кем-либо или делать что-либо», как об этом сказано в словаре. Но ведь с его помощью можно передать еще и отказ от первоначального намерения, и приветствие при встрече или расставании, а также несколько диффузных, ситуативных значений. Считать, что перед нами полисемичность речения, нет никаких оснований, потому что жесты, стоящие за каждым смыслом, разные. Семантика речения вытекает из простого прибавления смысла «махнуть» к смыслу «рукой», и только жесты, если они опознаны (а они могут быть и не опознаны), позволяют воспринять не только прагматическое, но еще и символическое значение. Нет принципиальной разницы между речением *махнуть рукой* и речениями *открыть дверь*, *захлопнуть книгу*; эти послед-

ние, также при условии предварительного знания, способны передавать символическую информацию: открыть дверь, чтобы могла войти кошка; захлопнуть книгу, потому что устал (ср. махнуть рукой, чтобы приветствовать знакомого). Следовательно, не речение само по себе несет информацию, а жест или другой соматизм, на который указывает речение. Вопреки мнению составителей фразеологического словаря, немалое число соматических речений, включенных ими в словник, — не фразеологизмы, поскольку они не имеют цельной семантики.

Вышеприведенные соматические речения в противоположность действительным фразеологизмам, имеющим застывшие формы и большую спаянность элементов в своем составе, весьма вариативны: возможны любые перестановки членов речения по отношению друг к другу (он махнул рукой — его рука устало махнула), вариативные замены (прятать/отводить/опускать/потуплять глаза /взгляд/взор/очи). Наконец, если фразеологизм соотносится со словосочетанием-прототипом исключительно генетически³⁰, то соматические речения из подвергаемого сомнению списка актуально отражают в наши дни живую мимику и жестикуляцию.

Чтобы признать соматическое речение фразеологизмом, нужно дождаться, чтобы отражаемый им соматизм вышел из активного употребления. Тогда речение лишается прямого, прагматического значения, одновременно перенимая на себя значение жеста или мимики; передаваемое значение становится цельным, неделимым, лексическим; ср., с одной стороны: «Они оказывали ему наружное почтение, при народе ходили за ним без шапок и били ему челом» (Пушкин. История Пугачева) и, с другой (когда жест не исполняется, его кинематика забылась): «Дорогой Александр Валентинович, бью челом Вам за Ваше милое письмо и за обе рецензии» (Чехов. Письмо Амфитеатрову от 13 апр. 1904 г.).

Поблюдения над путями и способами вербализации неверbalного соматического поведения человека имеют очевидные прикладные цели. Преподавание русского языка иностранцами и в советской национальной школе требует комплексной фиксации соматизмов и речений в их взаимо-переплетенности. Такая фиксация нуждается в единообраз-

³⁰ Ср.: «Фразеологизм может соотноситься со словосочетанием лишь генетически, то есть по своему происхождению, так как каждый фразеологизм — это то или иное переосмысленное конкретное словосочетание или предложение» (Фразеологический словарь.., с. 9).

ных словарных приемах. Поиск этих приемов в наших лексикографических штудиях начнем с повторения тезиса о том, что для современных наук, исследующих знаковое поведение людей, — и для лингвистики в том числе — характерен значительный интерес к невербальным языкам³¹; соматизмы (по преимуществу жесты и мимика) описываются как применительно к одной языковой общности, так и в сопоставительном плане³². Среди публикаций, основанных на русском материале, можно указать работы, в которых так или иначе описывается невербальное поведение русских, причем и в сопоставительном аспекте, и для лингводидактических целей³³. Во

³¹ Выше уже были указаны работы Р. Р. Гельгардта, Г. В. Колшанского, Э. Дрезена, П. Экмана, Н. И. Смирновой, а также сохраняющие свою актуальность исследования Ч. Дарвина, В. Вундта и А. Леманна. См. также: *Волоцкая З. М., Николаева Т. М.* и др. Жестовая коммуникация и ее место среди других систем человеческого общения. — Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. М., 1962; *Николаева Т. М., Успенский Б. А.* Языкознание и паралингвистика. — Лингвистические исследования по общей и славянской типологии. М., 1966; *Степанов Ю. С.* Семиотика. М., 1971; Национально-культурная специфика речевого поведения. М., 1977; *Critchley M.* The Language of Gestures. London, 1952; *Birdwhistell R. L.* Introduction to Kinesics. Washington, 1952; *Hall E. T.* The Silent Language. New-York, 1959; *Stokoe W.* Semiotics and Human Sign Languages. The Hague, 1972; *Pike K. L.* Language in Relation to a Unified Theory of Human Behavior. The Hague, 1967; *LaBarre W.* Paralinguistics, Kinesics and Cultural Anthropology. — Approaches to Semiotics. London; The Hague; Paris, 1964; *LaBarre W.* Die kulturelle Grundlage von Emotionen und Gesten. — Kulturanthropologie. Köln; Berlin, 1966; *Миттаро Тада.* Сигуса-но Нихон бунка: Японская культура в жестах. Токио, 1978; *Юко Кобаяси.* Мибури гэнго-но интий хикаку: Сравнение жестов языка японцев и англичан и американцев. Токио, 1976 (с обеими японскими книгами, очень существенными для наших задач, мы смогли познакомиться благодаря любезности Г. В. Хруслова) и др.

³² См., например: *Dunkan S.* Face-to-Face Interaction. Hillsdale, 1977; *LaFrance M., Mayo C.* Moving Bodies: Nonverbal Communication in Social Relationships. Monterey, 1978; *Lado R.* Linguistics across Cultures. Ann Arbor, 1957; *Landar H.* Language and Culture. Oxford, 1966; Nonverbal Communication. Toronto; New-York, 1974; *Argyle M.* Bodily Communication. London, 1975.

³³ *Капинадзе Л. А., Красильникова Е. В.* Жест в разговорной речи. — В кн.: Русская разговорная речь. М., 1973; *Акишина А. А., Формановская Н. И.* Русский речевой этикет. М., 1978; *Давыдов М. В.* Паралингвистические функции английского языка в сопоставлении с русским: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1965; *Верещагин Е. М., Костомаров В. Г.* Язык и культура. М., 1976, гл. 7; *Волос Р. П.* Введение в изучение невербальной коммуникации русского языка. — В кн.: Справоведение и преподавание русского языка иностранцам. М., 1972; она же. *Geste u ruskom jeziku i usporedbi s hrvatskim.* — Strani jezici, 1979, god. VIII, No 4.

всей обширной литературе нам, однако, не встретилось ни одной попытки последовательно и целенаправленно связать в фиксации соматизмы с соответствующими речениями.

Между тем при изучении иностранного языка (и русского как иностранного) важно как раз овладеть не столько национальным соматическим языком, сколько вербальными способами выражения и отражения этого языка. Ведь, во-первых, объективно существующая связь между соматизмами и соматическими речениями не есть связь предмета и зеркала, поскольку она неуклонно смещается в сторону верbalного языка. Соматические речения все чаще не отражают, а фактически замещают соматизмы. Жест, мимика или симптом в силу этикетных запретов уже не имеют места, но адресант тем не менее регулярно включает в речь отражающие их речения. Если в наши дни кем-то сказано «Я ему в ножки за это поклонилась», то можно быть уверенным, что поклон на самом деле не был произведен (исключая пародийно-комическую ситуацию). Отсутствующие соматизмы вербализуются в фразах типа: его все теперь оплевывают; мы его поставим на колени и т. д. Все возрастающее число соматизмов образует задний, «образный» план вербального высказывания: они как бы и существуют (поскольку соматические речения активны и всем известны стоящие за ними соматизмы), и не существуют (так как никогда не исполняются или исполняются в особых обстоятельствах).

Во-вторых, соматические речения играют большую роль в тех стилях и жанрах вербальной речи, для которых существенно создание образа и в которых передается, наряду с рационально-прагматической, эмоционально-эстетическая информация. Этими характеристиками обладают разговорная речь, публицистика и, конечно, художественная литература. Последняя немыслима без эйдетических и сенсуальных речений, указаний на значащее соматическое состояние и поведение персонажей³⁴. Иностранный читатель, если он хочет глубоко погрузиться в художественный текст, должен научиться отличать соматическое речение от прагматического, соотносить его с жестом, мимикой или симптомом и распознавать стоящую за ними символическую информацию.

Знание соматических речений содействует адекватному

³⁴ Подробно об этом см.: Шелгунова Л. М. Указания на рече-жестовое поведение персонажей как средство создания образа в русской повествовательной реалистической художественной прозе. Волгоград, 1979.

пониманию художественной литературы, особенно если читатель принадлежит к иной национально-культурной общности³⁵.

Все это подчеркивает нужность словарной дескрипции связей и зависимостей между соматизмами и общеязыковыми соматическими речениями. Такая дескрипция интересна и для русских, хотя в первую очередь ее следует адресовать изучающим русский язык в качестве второго языка.

Трудно найти краткое, емкое и адекватное название предлагаемого словаря русского соматического языка (т. е. жестов, мимики, выражений лиц, поз и симптомов) и русских соматических речений. Для краткости будем говорить «Словарь соматического языка», хотя имеется в виду связь между соматизмами и речениями.

Словарик словаря соматического языка должен охватывать речения, объективирующие актуально исполняемые движения и реально наблюдаемые телесные состояния. Однако из него нельзя исключать гиперболические описания из-за их частотности и соматизмы, которые не исполняются и не наблюдаются, так как они встречаются в литературе XIX в. Не могут быть опущены и жесты, запрещаемые узуально-этикетными нормами, ибо соответствующие им речения — характерная черта русской речи. В словарик необходимо включить, естественно, жесты и мимику русского происхождения. Однако и заимствованные жесты, особенно из культуры греков и римлян, следует учесть, если они исполняются или представлены в классической литературе.

³⁵ Чтобы убедиться в важности сказанного, достаточно поставить себя в положение иностранца. Так, автор вступительной статьи к сборнику русских переводов азиатских стихов справедливо подчеркивает, что русскому читателю «трудно оценить экзотические сравнения: походки женщины с походкой слона, звона браслетов — с гусиным клекотом, взглядов — с вереницей пчел. [...] Трудно всерьез принять такие поэтические условности, как то, что женщина склоняется от тяжести пышных грудей, а влюбленный в отчаянии обязательно разрывает ворот рубахи и т. д.» *Серебряный С. Классическая поэзия Индии*. — В кн.: Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии. М., 1977, с. 20. В этой выписке перечислены соматизмы, которые поражают русского. Примечательно, что на основании этого акта удивления мы можем судить не только о фактах иной культуры, но и о явлениях родной для говорящего культуры. Из цитаты можно узнать, например, что для русских странным кажется передавать отчаяние образом разрываемого ворота рубахи (так у нас изображается гнев), — в такой ситуации русский стал бы рвать на себе волосы. Слоновья походка женщины для русских эквивалентна легкой поступи серны.

Словарная статья в своей структуре и содержании подчиняется основной цели — продемонстрировать адресату связь соматизма и речения. Поскольку предполагается, что читатель пожелает справиться о семантике не самого соматизма, а отражающего его речения, то словарную статью эффективнее строить по принципу движения от речения к внешней форме соматизма и затем к его значению. Представляется нужным выделять следующие компоненты структуры словарной статьи.

1. Заголовочное речение в его наиболее употребительной, общеязыковой форме. Тут же могут быть указаны варианты речения, причем если отмечаются стилистические модификации, то необходимы соответствующие пометы.

2. Представление внешней формы соматизма, распадающееся на а) графическое, зрительно-наглядное изображение жеста, мимики, выражения лица или позы; б) вербальную экспликацию, которая должна быть настолько подробной, чтобы исключалось любое возможное недоразумение. Графическое изображение лучше строить на базе специально созданных семантизирующих рисунков³⁶, однако по отношению к мимике и позам рекомендуются фотографии³⁷. Вербальная экспликация может проводиться при помощи метаязыка, употребляемого в толковых словарях. Для движений выделяются две части: исходная, в которой описывается начальное положение тела или лицевых мышц человека; кинетическая, в которой эксплицируется перемена положения. Например, жест, соматическим речением для которого служит сочетание *развести руками*, вербально эксплицируется так: руки опущены свободно вдоль туловища, согнуты в локтях; медленным движением руки разводятся вправо и влево от говорящего, плечи чуть приподнимаются. Исходная и кинетическая части отделены друг от друга точкой с запятой.

3. Семантизация значения соматизма. Здесь также уместен метаязык толковых словарей, например, по отно-

³⁶ Удачный опыт семантизирующих рисунков можно найти в публикациях Р. П. Волос, а также в словаре Зайтца и Червенки, снабженном выразительными, хорошо передающими движение зарисовками Мела Петарского: *Saitz R. L., Cervenka E. J. Handbook of Gestures: Coolmbia and the United States. The Hague, 1972.*

³⁷ На фотографиях построена, например, книга: *Сухаревский Л. М. Клиника мимических расстройств. М., 1966.*

шению к жесту *развести руками*: крайне удивляться; недоумевать; не знать, как поступить в затруднительных обстоятельствах.

4. Оправдательно-разъясняющий материал. Литературные цитаты, которыми сопровождается семантизация значения, имеют документальный характер: как и в любом другом филологическом словаре, они призваны показать реальную жизнь речения в естественном тексте. Однако для учебного словаря важно подчеркнуть еще и разъясняющую функцию литературных цитат: они должны отличаться полнейшей ясностью и позволять точно представить себе речевую ситуацию. Если не находится подходящей литературной цитаты, составителю лучше самому составить иллюстрирующую фразу, чем приводить двусмысленную выписку из литературы. Цитаты должны отражать как позицию производящего действие (*развести руками*), так и точку зрения наблюдателя (*с разведенными руками*), как нормальное исполнение жеста или мимики, так и разные степени производства соматизма (*широко развести руками*).

5. Универбализация и фразеологизация соматического речения. Этот структурный компонент является факультативным.

6. Отсылочный аппарат, позволяющий соотнести семантизируемое речение с его антонимами и, что важнее, с омонимами; например, смотреть в глаза — антоним: прятать глаза, отводить взор; покачать головой (=отрицательный ответ) — омоним: покачать головой (=озабоченность).

В качестве примера приведем словарную статью МАХНУТЬ РУКОЙ, которая позволяет проиллюстрировать все перечисленные структурные компоненты ³⁸.

-
1. Заголовочное речение
 2. Внешняя форма соматизма
 3. Семантизация значения соматизма

МАХНУТЬ РУКОЙ

Рисунок

Правая рука согнута в локте, параллельно полу, ладонь обращена вниз; резким движением ладонь опускается.
Отказаться от намерения, переменить (первоначальное) решение, перестать обращать внимание на что-л. или отказаться от (безнадежного) дела.

³⁸ Амбарцумова Ж. Э. Лингвострановедческое описание русских фразеологизмов, восходящих к жестам. Ташкент, 1979.

- 4. Оправдательно - разъясняющий материал
- 5. Универбализация и фразеологизация
- 6. Отсылочный аппарат

«Кипящий Ленский не хотел /Пред поединком
Ольгу видеть, /На солнце, на часы смотрел,/ Махнул рукою напоследок/ И очутился в со-
седок» (Пушкин. Евгений Онегин). «Время,
когда он (Лев Саввич) возмущался /.../ дав-
но уже прошло; он махнул рукой и теперь
смотрел сквозь пальцы на романы своей /.../
супруги» (Чехов. Месть).
Отмахнуться от чего-л.

Омонимы: 1) призыв прекратить какое-л. дей-
ствие; 2) приветствие при прощании и при
встрече; 3) призыв подойти, приблизиться.

В заключение остается сказать, что вопросы взаимодействия верbalных и неверbalных способов общения заслуживают серьезного анализа. Время для такого анализа наступило³⁹.

И. Э. КЛЮКАНОВ
(Калининский госуниверситет)

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ О ГРАФИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТОВ

1. Отношения между звуковой и графической формами манифестации языка были объектом изучения многих отечественных филологов (Я. К. Грот, И. А. Бодуэн де Куртенэ, Г. О. Винокур, Д. Н. Ушаков, В. А. Богородицкий и др.). Однако потребовалось немало времени, чтобы преодолеть, взгляд, наиболее отчетливо сформулированный Ф. де Соссюром, согласно которому письмо является лишь оболочкой языка, вследствие чего основная функция формы выражения сводится к передаче акустических образов¹. О недооценке специфики статуса графической формы организации текстов свидетельствует также следующее высказывание Л. Блум-

³⁹ См. также: Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. О своеобразии отражения мимики и жестов верbalными средствами: На материале русского языка. — ВЯ, 1981, № 1.

¹ Ср.: «Язык и письмо суть две различные системы знаков: единственный смысл второй из них — служить для изображения первой». — Соссюр Ф. Труды по языкознанию. М., 1977, с. 62.

филда: «Письмо — это не язык, но всегда[лишь] способ фиксаций языка с помощью видимых знаков... Мы всегда должны предпочитать слову написанному слово «звукящее»². Но некоторые американские дескриптивисты признают существование «письменного языка»³.

2. Начало строгому различению графической и звуковой форм манифестации языка было положено И. А. Бодуэном де Куртенэ в работе «Об отношении русского письма к русскому языку»⁴. Эта статья является основополагающей в том смысле, что именно здесь представлен комплекс идей, которые рассматривали и последующие авторы, изучавшие различия и параллели между оптической (зрительной) и акустической (слуховой) формами материального воплощения языка в речи. Применительно к данным явлениям Бодуэн де Куртенэ пользовался терминами «языки» — «произносительно-слуховой язык» и «писанно-зрительный язык» (с. 215). Он близко подошел к проблеме специфики печатной формы функционирующего языка, отметив: «Мышление рядов графем с пробелами оказывается теперь особенно в печати, где каждая буква стоит отдельно, не соединяясь с другой» (с. 214). Затронут вопрос о «морфологизации» и «семасиологизации» писанно-зрительных (графических, оптических) различий больших и малых букв, больших букв в начале строки, «в начале собственных имен и других привилегированных слов» (с. 223); в типографских шрифтах — курсив, разрядка; в рукописных — подчеркивание, цветовое выделение и т. д. (с. 218). С некоторыми семасиологическими представлениями ассоциируются и многие знаки препинания (автор дает их перечисление).

Подобно тому, как А. Гардинер предлагал строго различать термины из сферы языка и термины из области речи, И. А. Бодуэн де Куртенэ рекомендовал «старателенно избегать подстановки терминов из одной области языкового мышления в другую область» (с. 219).

Чрезвычайно важно учесть и предложенное Бодуэном де Куртенэ представление языковой системы как «обобщающей конструкции», системы «сложной, многоступенчатой, но целостной...», включающей в себя все, что «может считаться

² Блумфилд Л. Язык. М., 1968, с. 35—36.

³ Ср.: Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику. М., 1959, с. 433.

⁴ Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные работы по общему языкоznанию. М., 1963, т. 2. (далее в тексте указывается только с.).

лингвистическим фактом»⁵. Поставив проблему взаимоотношения букв и фонем, ученый рассмотрел отношения между письмом и языком в трех выделенных им частях: алфавит, графика и орфография. Отметив графему, написанное слово и написанное предложение как специфические единицы письма, И. А. Бодуэн де Куртенэ показал возможное несовпадение этих единиц с соответствующими единицами языка произносимого.

3. Однако лишь в работах А. Артимовича⁶ и Й. Вахека «письменный язык» (по их терминологии) становится особым объектом изучения. Так, Й. Вахек, различая «письменный язык» (*la langue écrite*) и «устный язык» (*la langue parlée*), признавал их двумя особыми системами норм. При этом понятие «язык» (*la langue*) должно обозначать, по Вахеку, «не абстрактную универсальную норму, но... сумму норм»⁷.

4. Особо следует остановиться на работе Г. О. Винокура «Язык типографии»⁸. Проблему «зрительного, графического языка» Г. О. Винокур связывает с проблемами издательской, типографской практики. Однако он отмечает, что «на графику можно смотреть с разных точек зрения» (с. 219). Ничуть не возражая против решения проблемы внешней зрительной формы в свете данных «типографской эстетики», он обосновывает и разрабатывает лингвистическую точку зрения, с которой на графику можно смотреть «уже не только как на рисунок или орнамент, но также как на язык» (с. 235). Тем самым он развивает выдвинтое И. А. Бодуэном де Куртенэ положение о «морфологизации» и «семасиологизации» графических знаков. Г. О. Винокур отмечает, что графика выступает как «язык языка», но вместе с тем он считает, что «о графике можно говорить, как о языке совершенно непо-

⁵ Виноградов В. В. И. А. Бодуэн де Куртенэ. — В кн.: Бодуэн де Куртенэ. Избранные работы по общему языкоznанию. М., 1963, т. 1, с. 12—13.

⁶ О письме литературного языка, образующем особую автономную систему, которая частично независима от устного языка, см.: *Artimovyc A. Fremdwort und Schrift*. Prague, 1932, S. 114.

⁷ Вахек Й. К проблеме письменного языка. — В кн.: Пражский лингвистический кружок. М., 1967, с. 531. О сосуществовании в каждом языке «с давней письменной традицией» двух норм, двух языковых стандартов см.: Николаева Т. М. Письменная речь и специфика ее изучения. — ВЯ, 1961, № 3.

⁸ Винокур Г. О. Язык типографии. — В кн.: Культура языка. М., 1930 (далее в тексте указывается только с.).

средственном и языке первой степени» (ср. у Р. Якобсона: «Writing obviously may exhibit some autonomous properties»⁹).

4. 1. Основная заслуга Г. О. Винокура состоит в том, что он вслед за И. А. Бодуэн де Куртенэ выдвинул лингвистическую точку зрения на графику, рассматривая графические знаки не только как внешние, видимые символы, но и как формы внутренние — значащие, семасиологические. Однако именно в этом плане графическая форма манифестации языка остается еще наименее изученной¹⁰.

5. Новый раздел языкоznания, изучающий письменную форму речевой коммуникации, иногда предлагают называть «графологией». Но этот термин, перенятый из работ некоторых зарубежных лингвистов¹¹, ассоциируется с таким значением этого слова, которое чуждо области научных знаний: «графологией» в общелитературном языке называется «изучение почерка с целью определения психического склада и способностей человека, а также лженаучная теория, утверждающая возможность подобного определения и указывающая его способы»¹².

5. 1. Повышенное внимание в наше время к «письменному языку», несомненно, связано с его способностью служить разработке формализованных научных построений, которые могут восприниматься только визуально, а также с интенсивным изучением разных знаковых систем как средства передачи определенной информации (интеллектуального содержания).

5. 2. Современные зарубежные филологи идут дальше констатации специфических особенностей графической формы функционирующего языка. Они ставят задачу и приводят опыты по разработке «графической лингвистики»¹³, в парал-

⁹ Jakobson R. Selected writings. Mouton, 1962, v. 1, p. 653.

¹⁰ Правы те филологи, которые утверждают, что «проблема специфики стилистической функции графических средств до сих пор разработана еще недостаточно» (Арнольд И. В. Графические стилистические средства. — ИЯШ, 1973, № 3, с. 14) и что «...необходима теоретическая разработка вопросов языковой графики, детальный анализ графических средств, имеющихся в распоряжении пишущего» (Мучник Б. С. Способы передачи логического ударения в письменной речи. — РЯШ, 1972, № 4, с. 54).

¹¹ McIntosh A. Graphology and Meaning. — Patterns of Language, 1961.

¹² Словарь русского языка: В 4-х т. М., 1957, т. 1, с. 462.

¹³ Мы оставляем в стороне вопрос о правомерности различия в науке о языке так называемой «графической лингвистики».

лье к терминам «звук, класс звуков, фонема» предложены термины «граф, класс графов, графема»¹⁴. Кроме того, появились такие названия, как «грамматология» и «грамматография», «графемика» и «графематика», «графонема», «графофонема» и «фонографема» для обозначения определенной фонемы в отличие от графемы — единицы, не обозначающей фонемы (звука)¹⁵. При этом неоднозначность ряда терминов, которыми оперирует лингвистика в данной области, нередкие случаи их индивидуального (окказионального) осмысливания выдвигают перед каждым автором требование уточнить используемые им терминологические обозначения¹⁶. Изложение различных концепций зарубежных ученых, занимающихся исследованием «письменного языка» как особой области языковедения, а также обширные библиографические сведения представлены в работах Т. А. Амировой¹⁷.

6. Было бы рискованным утверждать, что филологи, употребляющие термины «устная — письменная» («рукописная — печатная») формы манифестации языка, дают одинаковые характеристики этих видов речевой деятельности, совпадающие во всех деталях. Возникают сомнения в том, обозначает ли какое-либо специальное название одно понятие, или же оно используется для обозначения таких лингвистических реалий, которые не вполне идентично осмысляются разными филологами. В частности, когда авторы многочисленных филологических работ употребляют такие терминологические словосочетания, как «устная форма речи», «письменная речь», «письменная и разговорная формы языка», «устный и письменный язык», «языки письменный и печатный», то у читателя возникают естественные вопросы о реальном содержании терминов «язык» и «речь». Придерживаются ли

¹⁴ См.: Crossland R. A. Graphic Linguistics and its Terminology. — Proceedings of the Durham Philosophical Society, 1957, vol. 1, Ser. B (Arts), № 2.

¹⁵ Об отношениях между фонемой и графемой см.: Pulgram E. Phoneme and Grapheme: A Parallel. — Word, 1951, vol. 7.

¹⁶ Ср.: «Крайне не упорядочена терминология, применяемая в работах по теории и истории письма» (*Истрин В. А. Некоторые вопросы теории письма*. — ВЯ, 1953, № 4, с. 109); ср. также: «Некоторые распространенные лингвистические термины скорее затемняют, чем проясняют взаимоотношения между обозначенными ими лингвистическими понятиями» (*Вахек Й. Указ. соч.*, с. 542).

¹⁷ См.: Амирова Т. А. Графология как область лингвистической проблематики. — В кн.: Лингвистика и методика в высшей школе. М., 1970, вып. 5; К истории и теории графемики. М., 1977.

филологи, избравшие для своих исследований данные объекты, бинарного, дихотомического принципа описания языка речи, или этот принцип ими отвергается, что влечет за собой идентификацию упомянутых понятий и их терминологических обозначений? ¹⁸.

6. 1. Когда «языком» называют одну из специфических семиологических систем, выступающую основным и важнейшим средством установления контактов между членами человеческого коллектива, то акцентируют лишь наиболее существенную — функциональную сторону данной знаковой системы. Язык рассматривается в его действии — как явление организованной речи, которую принято называть «текстами». Однако и понятие «текста» трактуется различно ¹⁹. «Текстом» мы будем называть закрытую, замкнутую речевую композицию, целостное произведение речевой деятельности — письменной и устной ²⁰, — обладающее полным собственным значением, грамматическим и интонационно оформленным утверждением, которому предшествует и за которым следует перерыв в звучании ²¹, соответствующий графический знак или пробел. Текстом бывает не только объединение предложений, создающее композицию какой-либо литературно-жанровой формы или произведение определенной функционально-стилистической разновидности, но и одно предложение, которое является продуктом творческого акта, типа пословицы, афоризма, выступающих малыми литературно-жанровыми формами организованной речи ²².

6. 2. Всякий графически оформленный текст может быть представлен в двух вариантах воплощения — рукописном и печатном. Однако различия между «письменным языком» и «печатным языком» (по терминологии Вахека) еще почти не изучены, что, вероятно, является следствием развития звуковой филологии как реакции на «гипноз графики». Как за-

¹⁸ Ср. еще: «профессиональный язык» в смысле «вид специального диалекта», «эзопов язык» — «иноказательная речь», «индивидуальный язык» в значении «идиолект, индивидуальный говор».

¹⁹ См.: Лингвистика текста. М., 1974, ч. 1 и 2.

²⁰ Ср.: текст — «...буквальная речь писателя» (*Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955, т. 4, с. 396); а «буквальный» — «переданный устно или письменно точь в точь», (*он же*, т. 1, с. 139).

²¹ Хэмп Э. Словарь американской лингвистической терминологии. М., 1964, с. 53.

²² Ср.: Ейгер Г. В., Юхт В. Л. К построению типологии текстов. — В кн.: Лингвистика текста. М., 1974, ч. 1, с. 104.

метил еще Й. Вахек, эти различия, не сводимые к «техническим средствам, при помощи которых реализуются графические знаки»²³, оказываются не только количественными: личность автора отражается в индивидуальной манере письма, тогда как форма печатных знаков всегда остается стандартной. Вопросы графического оформления текстов включаются в круг проблем новой отрасли науки о языке, называемой лингвистикой текста²⁴.

7. Рукописные и печатные тексты обладают специфическими средствами выражения, к которым следует отнести в первую очередь алфавит, а также пунктуацию, абзац, пробел и т. д. Т. М. Николаева причисляет знаки алфавита к единицам первого порядка, а пунктуацию, абзац, пробел, курсив и т. д. — к единицам второго порядка. При этом средства выражения второго порядка она разделяет на нормативные (знаки препинания и в меньшей степени знак абзаца) и факультативные (все остальные знаки); последние могут указывать на индивидуальное отношение пишущего к сообщающему²⁵. Мы полагаем, что не только факультативные средства выражения, но и нормативные — знаки препинания и знак абзаца (в случае намеренного нарушения правил их употребления), а также знаки алфавита (в рукописном варианте и в случае создания при помощи языковых знаков произведений, сама форма которых является выразительным средством), — могут стать специфическими экспрессоидами.

7. 1. Следует отметить, что приемы графической актуализации и элементы иконографии используются не только в произведениях художественной литературы, но и в газетной публицистике, причем зрительно «остраненными» могут быть не только отдельные слова, но и целые тексты²⁶.

8. Изучение графических выразительных средств является одной из задач стилистики²⁷. Однако большинство исследований в данной области является преимущественно описа-

²³ Вахек И. Указ. соч., с. 536.

²⁴ См., например: *Graphemische Figuren*. — В кн.: Plett H. F. Textwissenschaft und Textanalyse: Semiotik, Linguistik, Rhetorik. Heidelberg, 1979 и др.

²⁵ Николаева Т. М. Указ. соч., с. 78.

²⁶ См., например: Андронов И. Всю жизнь за решеткой — ЛГ, 1977, 27 апр. (она сверстана таким образом, что черные вертикальные полосы как бы символизируют тюремную решетку).

²⁷ Ср.: Степанов Ю. С. Французская стилистика. М., 1965, с. 326—328; Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка. Л., 1973, с. 274—295; и др.

тельными и посвящено, как правило, какому-либо одному графическому выразительному средству, иногда применительно к тексту произведения того или иного писателя. Так, в качестве объекта наблюдений берутся логическое ударение²⁸, кавычки²⁹, многоточие³⁰ и т. д. В остальных исследованиях графические выразительные средства рассматриваются лишь на материале стихотворной речи³¹, создаются по источникам какого-либо одного языка³², или исследования подчинены целям лексикографии³³ и практике оформления книг³⁴.

8. 1. Но отношение «графическая форма — звуковая форма» остается почти не исследованным в плане сопоставления субстанциональной природы графических и звуковых знаков, различие между которыми в конечном счете определяется различием каналов получения информации — оптического и акустического³⁵. Между тем исследование графических систем и графически оформленных текстов как источников информации является одной из важнейших задач семиотики и теории коммуникации, поскольку через оптический канал мы получаем 90 % всей информации.

8. 2. Вот что пишет о качественном различии графического и звукового знаков Ю. С. Степанов: «...звуковой знак может компенсироваться материально иным — графикой. Начертание слов, знаки препинания, многоточия, абзацы, расположение строк... прописные буквы и даже характер шриф-

²⁸ Ицкович В. А., Шварцкопф Б. С. О способах выражения фразового ударения в письменной речи. — В кн.: Фонетика. Фонология. Грамматика. М., 1971; Мучник Б. С. Указ. соч.

²⁹ Панов Г. А. Смысловая роль кавычек в произведениях В. И. Ленина. — Филол. науки, 1971, № 4.

³⁰ Орлов М. М. Стилистические функции пауз, выраженных многоточием, в произведениях И. С. Тургенева. — РЯШ, 1968, № 5.

³¹ Ср., например: Балашова Т. В. Ступени а-поэзии. Леттеризм. Конкретная поэзия. Поэзия в пространстве. — Филол. науки, 1978, № 5, с. 85—86; Жовтис А. Л. Стихи нужны. Алма-Ата, 1968, с. 128—163; Григорьев В. П. Графика и орфография у Вознесенского. — В кн.: Нерешенные вопросы русского правописания. М., 1974; Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. Л., 1972, с. 70—74.

³² Ср.: Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка. Л., 1973, с. 274—295; она же. Графические стилистические средства. — ИЯШ, 1973, № 3.

³³ Ср.: Григорьев В. П. Словарь языка советской поэзии. М., 1965.

³⁴ Валуенко Б. В. Выразительные средства набора в книге. М., 1976.

³⁵ Об этом см.: Леонтьев А. А. Некоторые вопросы лингвистической теории письма. — В кн.: Вопросы общего языкознания. М., 1964.

та играют роль знаков. При этом их знаковый характер коренным образом отличается от того, какой они могут иметь в практической речи... В речи художественной они есть часть самого знака, его означающее, и, следовательно, их связь с означаемым непосредственна»³⁶. Иными словами, графически оформленный знак, функционирующий в художественной речи, не есть простое двуединство означаемого и означающего, связь которых почти всегда условна и произвольна. Означающее данного графического знака непосредственно соединено с означаемым, в результате чего означающее становится значимым, а отношение пишущего к сообщаемому оказывается выраженным не только содержанием высказывания, но и его формой.

8. 3. Графические знаки, будучи специфическими средствами выражения семантической информации, содержащейся в рукописных и печатных текстах, могут выступать также как выразительные способы или приемы, вносящие в текст дополнительные смыслы или акцентирующие его эмоционально-экспрессивно-оценочные окраски. Это и есть своего рода коннотации. Мы полагаем, что применительно к изучаемым объектам допустимо оперировать понятием «графически выраженная коннотация», по частичной аналогии с коннотациями, которые различаются в стилистически маркированных словах.

9. Объектом изучения процессов вербальной передачи информации являются не только языковые, но и неязыковые знаки, которые исследуются параграфистикой. Как область научного исследования параграфистика «не определена еще достаточно четко как со стороны своего объекта, так и своего места среди других научных дисциплин»³⁷. Дж. Трейгер³⁸, утвердивший в науке о языке термин «параграфистика», относил к параграфистическим явлениям звукового характера, сопровождающие устную речь. Однако предложенное Дж. Трейгером понимание параграфистики было впоследствии значительно расширено. Так, Г. В. Колшанский относит к параграфистическим средствам, кроме явлений фонации,

³⁶ Степанов Ю. С. Указ. соч., с. 326.

³⁷ Колшанский Г. В. Параграфистика. М., 1974, с. 13.

³⁸ Trager G. Paralanguage: A First Approximation. — Studies in Linguistics, 1958, N 13. Ср. также: Key M. P. Preliminary Remarks on Paralanguage and Kinesics in Human Communication. — La Linguistique, 1970, vol. 6 fasc. 2. Автор отмечает, что в передаче информации могут участвовать язык, парабык и кинесика, при этом невербальные средства являются одним из отличий «устного языка» от «письменного».

также кинесику. Мы будем придерживаться именно такой трактовки предмета паралингвистики. Е. Д. Поливанов не выводил паралингвистические явления за пределы науки о языке. Отметив, что «значение слов дополняется разнообразными видоизменениями звуковой стороны...и...жестами», он указывал: «Не надо думать, что эти стороны речевого процесса есть нечто, не подлежащее ведению лингвистики, т. е. науки о языке. Только, разумеется, рассмотрение этих фактов (мелодизации, жестов и прочих аксессуаров речи) составляет особый самостоятельный отдел лингвистики; это тот отдел, которым лингвистика соприкасается с теорией драматического искусства»³⁹.

10. Представляется дискуссионным положение, выдвинутое И. Р. Гальпериным, согласно которому паралингвистические знаки присущи лишь устной речи⁴⁰. Более убедительной кажется точка зрения Г. В. Колшанского, который считает, что «паралингвистические средства... всегда включаются в контекст, будь то в письменной или устной речи»⁴¹. Так, одни паралингвистические средства (интонация, обладающая комментирующей ролью), являются необходимым компонентом говорения, другие (жесты, мимика) обычно сопровождают акты говорения, создавая их знаковую синcretичность, хотя этот вид паралингвистических знаков (кинемы, соматизмы⁴²) отсутствует в такой форме массовой коммуникации, как радиопередачи. Синcretичность графической формы манифестации языка вторична, так как она условно отражает в графике некоторые паралингвистические знаки, функционирующие в звуковой речи.

11. Поскольку графически оформленный текст представляет собой набор языковых единиц и невербальных знаков, то оказывается возможным дифференцировать используемые в нем паралингвистические средства. Предлагают различать: а) письменные знаки, которые обычно употребляются в тексте в грамматической функции (многоточие, восклицатель-

³⁹ Поливанов Е. Д. Статьи по общему языкознанию. М., 1968, с. 296.

⁴⁰ См.: Гальперин И. Р. О понятии «текст». — ВЯ, 1974, № 6, с. 71.

⁴¹ Колшанский Г. В. Паралингвистические средства в языке коммуникации. — ВЯ, 1973, № 1, с. 21. О том, что паралингвистическая информация передается также письменными и печатными высказываниями, см.: Hartp E. P. Graphemics and Paragraphemics. — Studies in Linguistics, 1959, v. 14. N 1—2.

⁴² О кинемах и соматизмах см.: Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Филологический подход к соматическому языку. — В кн.: Язык и речь как объекты комплексного филологического исследования. Калинин, 1981.

ный знак, вопросительный знак) в паралингвистическом использовании, т. е. не как знаки пунктуации, а как чисто внешние символы, нацеленные на передачу дополнительной информации; б) различные изображения в тексте — рисунки, чертежи и т. д. Сюда же относят различного рода варианты красочного оформления текста⁴³. Думается, что эта группировка нуждается в дополнении и детализации. Мы предлагаем другую схему, которая составлена с учетом особенностей графической формы манифестации языка и ее печатного варианта и которая также вряд ли может претендовать на полноту.

Составленная схема, очевидно, требует некоторого разъяснения. Паралингвистические средства, образующие первую группу, используются не по линии чисто грамматического маркирования структуры высказывания, а по линии внешних символов, которые вносят в текст дополнительную информацию. Паралингвистическая иконография (вторая группа) может быть создана как языковыми, так и неязыковыми знаками. В первом случае мы имеем в виду пространственное расположение языковых знаков, означаемое которых непосредственно связано с означающим, в результате чего словесное выражение, оформленное буквами, приобретает иконический вид.

11.1 Все перечисленные средства или приемы являются специфическими экспрессоидами, которые могут быть мобилизованы поэтической мыслью.

12. Г. В. Колшанский указывает, что «по сравнению с устной речью набор паралингвистических средств в тексте ограничен»⁴⁴. Нам представляется, что сравнивать паралингвистические средства графической и звуковой форм манифестации языка надо не в плане их количественного сопоставления, а в плане выявления их специфики. Из положения о том, что формы манифестации языка не есть точное отражение его инвентаря, следуют, по крайней мере, два вывода: 1) в устных высказываниях есть то, что является компонентом системно-организованной структуры языка, и то, что в него не входит, что остается явлением организованной речи; 2) графическая форма отражает то, что входит в звуковую речь, и то, что остается достоянием речи, построенной средствами графики. Отсюда можно сделать такое заключение:

⁴³ См.: Колшанский Г. В. Паралингвистика, с. 55—59.

⁴⁴ Там же, с. 23.

ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПИСЬМЕННЫХ И ПЕЧАТНЫХ ТЕКСТОВ

ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГРАФИКА

Знаки препинания (в паралингвистическом использовании),
случай их редукции, знак удаления, дефис (черточка), восклицательный знак, вопросительный знак, их комбинации, апостроф, скобки, абзац, знак параграфа, курсив, подчеркивание, пробелы, различие букв и слов по цвету, особенности шрифта и набора...

СОЗДАННАЯ ПРИ ПОМОЩИ ЯЗЫКОВЫХ ЗНАКОВ

Акростихи
Месостихи
Палиндромы
Фигурные стихи...

ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ИКОНОГРАФИЯ

СОЗДАННАЯ ПРИ ПОМОЩИ НЕЯЗЫКОВЫХ ЗНАКОВ

ИКОНИЧЕСКИЕ ЗНАКИ	СХЕМАТИЧЕСКИЕ ЗНАКИ	СИМВОЛИЧЕСКИЕ ЗНАКИ
Рисунки	Схемы	Формулы
Портреты	Планы	Цифры
Фотографии...	Чертежи...	Ноты...

есть случаи, когда информация, воплощенная в звуковой форме при помощи языковых знаков, в графической форме может быть передана лишь паралингвистическими средствами; и есть случаи, когда паралингвистические знаки, используемые в устных высказываниях, должны и могут быть переданы в письменных и печатных текстах только описательным способом. Иначе говоря, звуковая форма манифестации языка обладает такими паралингвистическими средствами, которые отсутствуют в графической форме, и наоборот. Следовательно, речь должна идти не столько об ограниченности набора паралингвистических средств, которыми располагают письменные и печатные тексты, сколько об их специфике.

12. 1. Приведем несколько примеров. Как известно, одним из паралингвистических средств звуковой речи является интонация. Однако графическая форма может не располагать достаточными ресурсами, позволяющими передать некоторые тонкие оттенки чувств, свободно объективируемые в интонации. Отсутствие строго выдержанного соответствия между компонентами фонетической системы (с ее просодемами) и набором графических обозначений бывает причиной невозможности воплотить в графике реальный смысл и коннотационные оттенки устного высказывания, ситуативно обусловленного и способного адекватно передать намерения речевого выражения, его экспрессию в самой «произносительно-исполнительской» манере. Так, реплика экзаменатора, обращенная к неподготовленному студенту «Вы прекрасно усвоили материал, и Ваши знания заслуживают отличной оценки», переданная в графической форме, будет понята прочитавшим это высказывание в прямом значении составляющих ее элементов, тогда как истинный смысл реплики антонимичен тому, который получил эксплицитное воплощение в звучащей речи. Поэтому, чтобы данное высказывание при графической его передаче было правильно понято, необходимо прибегнуть к описательному способу или воспользоваться паралингвистическими средствами (например, взять слова «прекрасно» и «отлично» в кавычки).

12. 2. Перекодирование знаков кинетических в знаки языковые устраниет возможные недоразумения при графической передаче семантически существенных приемов или манер говорения как знаково-синкретичного исполнительского акта. Если же при непосредственном устном общении жест заме-

няет словесный знак⁴⁵, то при графической передаче такого семиотически синкретичного высказывания неизбежно возникает потребность в вербальном описании жестикуляции. Ср. у Т. Манна: «...один тонкий знаток человеческих душ заметил в большой компании: «Ашенбах с молоду жил вот так, — он сжал левую руку в кулак, — и никогда не позволял себе жить этак, — он расжал кулак и небрежно уронил руку с подлокотника кресел»⁴⁶.

12. 3. Г. Глисон отметил «трудность письменной передачи высказываний», которая «заключается в том, что у нас нет средств, чтобы сообщить читателю, какая интонация подразумевается»⁴⁷. Писатели частично устраняют эту трудность приемом называния гарнитуры шрифта, у которого есть функция семантического акцентирования графически выделенной части текста: «Ну, да, — подтвердила герцогиня, все больше и больше подчеркивая слова... при помощи особенного произношения, равнозначному курсиву в печатном тексте»⁴⁸.

Таким образом, графическая форма не всегда может передать некоторые оттенки чувств, свободно объективируемые в звуковой форме.

12. 4. Но зато у графической формы есть такие возможности выражения значений и эмоционально-экспрессивных коннотаций, какими устная речь не располагает. Сегмент текста, фиксируемого в печати, которая пользуется разными кеглями (размерами типографской литеры), или часть письменного текста с различными буквенными обозначениями в случаях устного воспроизведения не всегда правильно понимаются слушателем. Упомянем хотя бы дифференацию средствами графики омонимии имен собственных и нарицательных, написанием одних начальной прописной буквой, а других — строчной. Таким способом устраивается вероятная помеха в понимании сегмента графически оформленного текста.

12. 5. К графическим знакам, не являющимся отражением звуковой стороны языка и не употребляемым для указания особенностей фразировки или синтаксико-семантического членения предложений, а также сверхфразовых единиц, сле-

⁴⁵ Об использовании жестов, способствующих выражению тонких оттенков мысли и чувств, см.: *La Funzione artistica del Gesto*. — In: *Kauchtschischwili N. La Narrativa di I. S. Turgenev problemi di lingua e arte*. Milano, 1969.

⁴⁶ Манн Т. Собр. соч. М., 1960, т. 7, с. 455.

⁴⁷ Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику. М., 1959, с. 83.

⁴⁸ Пруст М. Собр. соч. Л., 1936, т. 3, с. 581.

дует отнести прописные буквы и кавычки в функции экспрессивной или оценочно-сематической. Помехи в таких случаях устраняются простым наименованием графического знака (ср. «Человек с большой буквы»), иногда вместе с самим знаком препинания (ср.: О «приостановке» наступления на капитал можно говорить только в кавычках, т. е. только метафорически). Или графическое обозначение отсутствует, а условность названия или ироническая окраска речевого сегмента передается фразеологизмом «в кавычках» (ср.: «Буржуазная свобода в кавычках»).

12.6. Идеографическое изображение пунктуационного знака может быть в печатном тексте (это очень редкий случай) субститутом его словесного обозначения: ср. «Шьет иглой портниха в строчку, /Взял коньки точильщик в точку./ Я заканчивая строчку, /Ставлю маленькую .» /точку/⁴⁹.

12.7. Читатель далеко не всегда обращает внимание на такой диакритический (дифференциальный) знак, как «ё». В печатных текстах этот знак часто остается не отмечаемым, что поддерживает инерцию модернизированного произнесения старинных поэтических текстов. Произносят «Квартет на лад нейдёт» или «...дуб уединённый» — «переживает мой век забвенный», обедняя тем самым рифмовые созвучия и не донося до слушателей звучания и коннотационных оттенков поэтической речи автора. Интересно отметить, что Марина Цветаева, которая придавала большое значение графическому оформлению своих произведений, в «Аriadне» несколько раз обращается к читателю с просьбой о должном произнесении буквы «ё». Так, четверостишие « В тоске и в дрожи /Куда — за версты/ Плы vem? О не/К женихам заморским» сопровождается сноской: «Слово «версты» прошу читать через «ё» две точки»⁵⁰. А к строкам «И ложа скалистого/Одр — тверже нам взбит.../» дана сноска: «Слово «тверже» прошу читать через простое «е»⁵¹. Эти ремарки указывают, что торжественное и высокоэмоциональное звучание должно быть воспринято читателем и что отступление от современной орфоэпической нормы в последнем случае вызвано намерением речевого выражения.

12.8. «Графически маркированные» (лишенные нейтраль-

⁴⁹ Козловский Я. Воочию. М., 1974, с. 295. Это одно из проявлений языка, предназначенного для «эртельного восприятия».

⁵⁰ Цветаева М. Избранные произведения. М.; Л., 1965, с. 630.

⁵¹ Там же, с. 671.

ности) шрифтовые формы и изобразительные средства в виде цвета, размера, конфигурации букв, их пространственного расположения, расчитанные на зрительное восприятие, входят в арсенал паралингвистических приемов, которые мы условно назвали «графическими коннотациями». Графическое и иконографическое размещение букв может воспроизводить не только форму денотата, но и указывать направление движения (интересные примеры такого использования графических знаков можно встретить в кн.: *Давыдовичев Л. Друзья мои, приятели. Пермь, 1966*).

13. Паралингвистические средства и паралингвистические условия функционирования языка в конкретных (индивидуальных), а особенно в типовых ситуациях общения более изучены применительно к процессам устного речепроизводства, чем к графической форме речевой коммуникации. Перед филологией все еще остается не вполне решенной задача изучения паралингвистических возможностей и ресурсов, которыми располагает графика. Наметившаяся тенденция к сближению искусства словесного с искусством изобразительным, проявляющаяся в синкетической структуре письменных и печатных текстов (графика + иконография), требует специального исследования в плане идей и проблем паралингвистики. Это, например, объединение в связном тексте графических слов и картиечно-рисуночных изображений, особенно таких, которые создаются с помощью букв, расположенных не в обычной линейной последовательности, а с таким расчетом, чтобы буквенные, графические знаки, отражающие языковые формы, вместе с тем изображали контуры предметов или указывали направление действий, движений и т. д. Алфавитный тип письма в некоторых сегментах текста выступает в функции картиечно-синтетического рисуночного письма, когда буквы используются для зрительной экспозиции той реальности, которая отражена в содержании высказывания. В достаточной мере не изучены отношения паралингвистических средств к функциям речевого выражения (К. Бюлер, Р. Якобсон), а также еще не вполне установлены группы графически выраженных паралингвистических знаков как семиологически значимых единиц, обладающих различными характеристиками, которые намечены в современной семиотике (Ч. Пирс, Ч. Моррис). Кроме того, мы упомянем проблему эквивалентов текста приемом указания только нумерации строфы или главы, а также с помощью многоточия, расположенного в линейный ряд строки или целой

строфы. Интересны пристрастия писателей к тем или иным знакам препинания. Графическое оформление текстов может отражать определенные литературные позиции автора⁵² или воздействие на писателя философских идей, как это было уже отмечено Л. Шпитцером, указавшим, что даже в графике произведений Пеги отразилось влияние философских идей Бергсона⁵³. Продолжает оставаться актуальной программа использования и установления таких паралингвистических средств или приемов, дающих дополнительную информацию, как мотивированный отбор шрифтов, размера типографской латыни, строфическое расположение текстов, использование цвета и т. д.

Эти и другие вопросы паралингвистики еще ждут своего решения в широком филологическом аспекте⁵⁴.

Н. И. ТОЛСТОЙ

(Московский госуниверситет)

МЫСЛИ Н. С. ТРУБЕЦКОГО О РУССКОМ И ДРУГИХ СЛАВЯНСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКАХ

Более двадцати лет тому назад в послесловии к книге Н. С. Трубецкого «Основы фонологии» (М., 1960) известный советский лингвист А. А. Реформатский писал: «Николай Сергеевич Трубецкой (1890—1938), родившийся и получивший образование в Москве, стал ученым с мировым именем и одним из главных создателей новой лингвистической дисциплины — фонологии». «Основы фонологии» — это первая фонологическая энциклопедия, классический лингвистический труд XX века». Действительно, именно этот труд поставил имя Н. С. Трубецкого в один ряд с именами таких крупнейших лингвистов, как Ф. де Соссюр, К. Бругманн А. Мейе, И. А. Бодуэн де Куртенэ и др. Современные истории языкоznания отводят в своих исследованиях Н. С. Трубецкому все большее место, справедливо находя в его наследии отправные точки и положения для будущих научных

⁵² Ср.: *Маринетти Ф.* Технический манифест футуристической литературы. Милан, 1912.

⁵³ Шпитцер Л. Словесное искусство и наука о языке. — В кн.: Проблемы литературной формы. Л., 1928, с. 205—206.

⁵⁴ Ср. исследование, проведенное А. Г. Костецким на материале стихотворной речи (см.: *Костецкий А. Г.* Содержательные функции поэтической графики: Диc. ... канд. филол. наук. Киев, 1975).

поисков, опытов и направлений. Он разделил судьбу многих выдающихся ученых давнего и недавнего прошлого: истинное признание научных заслуг и понимание идей автора пришло после его смерти. Преждевременная кончина не дала ему закончить, отредактировать, издать ряд замечательных работ, часть которых была курсами лекций, читанных в Венском университете. Посмертно вышли «Основы фонологии», курс старославянского языка, лекции по русской литературе XVIII—XIX вв., работы по древнерусской литературе, письма¹. Многое из того, что было напечатано при жизни, затерялось в малодоступных и редких изданиях.

Перед биографом и исследователем трудов Н. С. Трубецкого предстает целый облик ученого-теоретика, ученого-слависта, ученого-кавказоведа, индоевропеиста, филолога, этнографа и лингвиста, историка культуры и литературы очень широкого профиля. Ныне же не только в отечественной филологической среде, но и в зарубежной (даже в тех странах, с которыми Трубецкой был тесно связан в последнее двадцатилетие своей жизни — в Чехословакии и Австрии) известны главным образом его фонологические и морфонологические исследования, его разыскания по сравнительному славянскому языкознанию, по древнейшему периоду истории и предыстории западнославянских языков. На Западе знают также Трубецкого-кавказоведа, но с Трубецким-филологом, Трубецким-этнографом, Трубецким-историком русской литературы знакомы еще мало. Работу Трубецкого-историка литературного языка читали и цитировали немногие, среди них В. В. Виноградов и Б. Гавранек².

Наша статья преследует скромную задачу: изложить кратко, преимущественно в форме цитат, т. е. словами самого автора, основные положения его статьи «Общеславянский элемент в русской культуре» (далее ОЭРК). Статья эта была опубликована в 1927 г. в сборнике Трубецкого «К проблеме

¹ Trubetzkoy N. S. *Grundzüge der Phonologie*. Prag, 1939; 2. Auflage. Göttingen, 1958; *Principes de phonologie*. Paris, 1949; *Altkirchenslavische Grammatik. Schrift- Laut- und Formensystem*. Wien, 1954; 2. Auflage. Graz; Wien; Köln, 1968; *Die russischen Dichter des 18. und 19. Jahrhunderts: Abriss einer Entwicklungsgeschichte*. Graz; Köln, 1956; *Vorlesungen über die altrussische Literatur*. Firenze, 1973; *Letters and Notes*. The Hague, 1975; *Three Philological Studies by N. S. Troubezkoy*. — Michigan Slavic Materials, 1963, № 3. Библиографию работ Н. С. Трубецкого, вышедших до 1939 г. включительно, см.: *Havránek B. Travaux du Cercle linguistique de Prague*. Praha, 1939, 8, p. 335—342.

² См.: Виноградов В. В. Избранные труды: История русского литературного языка. М., 1978, с. 252; *Havránek B. Studie o spisovném jazyce*. Praha, 1963, p. 265.

русского самопознания» на с. 54—94 (далее в тексте указываются страницы).

Историю литературного языка Трубецкой предлагает рассматривать и рассматривает на широком фоне истории культуры. По его представлению, при помощи языка определенный социум или этнос («национальная личность») обнаруживает свой внутренний мир. Язык является основным средством общения между людьми, а в процессе этого общения создаются многочисленные этносы-социумы. Этим уже определяется важность изучения языка с точки зрения историко-социологической, историко-культурной, этнологической («персонологической»). «Судьбы и специфические свойства русского литературного языка чрезвычайно важны для характеристики русской национальной личности, точно так же, как важно для этой характеристики и само положение русского языка среди других. Рассмотрение этих вопросов заставляет поставить и вопрос о культурных преемствах и наследованиях, — вопрос, выходящий за пределы одной лингвистики и долженствующий ставиться и решаться одновременно и параллельно несколькими науками: при исследовании русской народной личности проблема культурных преемств является одной из центральных» (ОЭРК, 9).

Так характеризует ученый в предисловии свои научные задачи и место истории литературного языка среди других культурологических и исторических дисциплин. Нетрудно заметить, что сам он в этой работе идет по пути «преемства и наследования» не только мыслей В. И. Ламанского и Н. Я. Данилевского, но и А. А. Шахматова, который писал, что «самопознание возможно лишь при известной широте кругозора: расширение же нашего русского кругозора достигается прежде всего приобщением к нему всего греко-славянского мира, с которым мы тесно связаны исторически и политически»³. А. А. Шахматов считал, что такое самопоз-

³ Это суждение А. А. Шахматов высказал в «Записке об ученых трудах проф. В. И. Ламанского» в 1899 г. Тогда же он представил и «Записку об ученых трудах проф. Ф. Е. Корша», в которой писал: «Редкий экскурс Федора Евгениевича в области классической древности или востока не сопровождался добычей, драгоценностью для русской науки, и почти все написанное им может быть названо вкладом в историю нашего языка и нашего самосознания» (см.: Сб. ОРЯС Имп. Академии Наук. СПб., 1901, т. LXIX, с. XL, XLVIII); см. также: Виноградов В. В. Русский литературный язык в исследованиях А. А. Шахматова. — Уч. зап. МГУ, вып. 128; Труды кафедры русского языка. М., 1948, кн. 1, с. 3.

нание или самосознание должно основываться на глубоком понимании русского исторического процесса, русской жизни, русского языка, русской литературы. В этом случае оно будет содействовать культурному и нравственному подъему русского общества и русского народа.

Статья «Общеславянский элемент в русской культуре» рассчитана не на специалиста, а на широкого читателя. По словам Трубецкого, «хотя языковедение достигло в России высокой степени развития, и русские языковеды пользуются всюду за границей хорошей репутацией, средний образованный русский человек как раз в области языковедения имеет очень слабые и часто превратные познания» (ОЭРК, 9). Поэтому он считал сначала «нелишним рассмотреть некоторые основные общие понятия». К таким общим понятиям он относит необходимость разграничить явления народный язык и литературный язык. Литературный и народный языки связаны между собой, но все же «вполне никогда не совпадают друг с другом и развиваются каждый своими путями. Язык народный имеет наклонность к диалектическому дроблению, тогда как литературный, наоборот, имеет наклонность к нивелировке, к установлению единобразия» (ОЭРК, 54). И народный и литературный языки дифференцируются, однако в народном языке преобладает дифференциация географическая, по местностям, а в литературном — по видам специального применения языка. Народный язык делится на говоры по географическому принципу, в то время как в дифференциации литературного языка принцип специализации преобладает над географическим: образованные люди, происходящие из самых разных местностей, говорят и пишут не совсем одинаково, и по языку произведений писателя часто можно легко определить, откуда он родом, но гораздо сильнее выступают в литературном языке различия по видам специального применения, например, различия между языком научной прозы, деловой прозы, художественной прозы, поэзии (ОЭРК, 54). Особо останавливается Трубецкой на разговорном языке, поясняя, что «разговорный язык может быть чисто литературным, чисто народным или представлять из себя смесь литературного и народного языка в различных пропорциях». При этом «на известных ступенях образования один и тот же человек может с полной свободой, правильностью и естественностью применять литературный язык в разговоре (или письме) об известных предметах, в разговоре на другие темы применять смесь литературного и народного

языка и, наконец, о третьих может свободно и естественно говорить только на народном языке. Играет роль, разумеется, и то, с кем именно ведется разговор или переписка⁴. Таким образом, «сожительство народного и литературного языка в среде одного и того же национального организма определяется сложной сетью взаимно перекрещивающихся линий общения между людьми» (ОЭРК, 54—55).

Обращаясь снова к народному языку, Трубецкой отмечает, что «основным явлением в эволюции народного языка является динамическое дробление и «распадение». В связи с этим он довольно подробно останавливается на происхождении русского языка из праславянского, а праславянского из индоевропейского. В процессе эволюционного распада Трубецкой как опытный компаративист выделяет два существенных момента — момент параллельного развития диалектов и момент так называемого «частнодиалектного», т. е. непараллельного развития. Вот как он об этом пишет применительно к русскому языку: «Когда мы говорим, что праславянский язык развился из индоевропейского прайзыка, а русский язык — из праславянского, то при этом представляем себе следующий процесс: каждый живой народный язык всегда заключает в себе несколько диалектов, каждый из которых стремится к обособлению; обычно все диалекты одного языка развиваются параллельно и представляют более или менее одновременно одни и те же изменения; но наряду с этими общими всем диалектам данного языка изменениями, каждый отдельный диалект претерпевает и другие изменения, свойственные лишь одному ему и разве еще некоторым соседним диалектам; с течением времени таких частнодиалектических изменений накапливается все больше и больше, нарушается и самый параллелизм развития, т. е. даже одни и те же изменения в разных диалектах следуют друг за другом не в одном и том же порядке, что еще углубляет разли-

⁴ Нарисованная исследователем картина разговорного языка не характерна для состояния современной русской разговорной речи, но может найти свое подтверждение в инославянской среде — черногорской (сербской) или украинской. Следует отметить, однако, что для речи части русской интеллигенции в начале XX в., прежде всего для дворянской среды, такое положение было довольно характерным. В этом отношении могу сослаться на языковый узус моего дяди Владимира Ильича Толстого (1899 г. р.) и отчасти моего покойного отца Ильи Ильича Толстого (1897 г. р.), пользовавшихся в известных ситуациях сильно выраженным «калуцким» (реже тульским) говорком.

чия между диалектами; наконец, наступает такой момент, когда изменения, общие всем диалектам данного языка, вообще перестают возникать, а возникают лишь изменения, свойственные отдельным диалектам или группам таких диалектов; с этого момента данный язык может считаться уже распавшимся, т. е. утратившим свое единство как «субъект эволюции», и единственным «субъектом эволюции» оказываются уже отдельные диалекты» (ОЭРК, 55—56). Когда дивергентные изменения заходят так далеко, что представители одного диалекта перестают понимать представителей другого диалекта, тогда «можно считать, что данный диалект уже превратился в самостоятельный язык» (ОЭРК, 56). Таким образом, праславянский был диалектом индоевропейского, а русский — диалектом праславянского, затем русский распался на три наречья — «великорусское, белорусское и малорусское». Великорусское в свою очередь подразделяется на несколько диалектов: северно-, южно-, и переходный средневеликорусский. Говоря о «распадении языка», Трубецкой стремится определить и момент этого распадения и считает таковым «момент последнего изменения, общего всем диалектам данного языка» (ОЭРК, 56). Для праславянского таким моментом было так называемое «падение слабых еров», т. е. падение редуцированных.

Едва ли следует подчеркивать теоретическую значимость приведенных выше рассуждений Трубецкого и для общего и для сравнительного языкознания, равно как и то, что он первым выдвинул положение о конце праславянских процессов в X—XI вв., что существенно и для абсолютной и для относительной хронологии ряда славянских языковых процессов. Существеннее в данный момент то, что эту умело нарисованную в очень кратких чертах эволюцию народного языка, эволюцию диалектов, исследователь противопоставляет особенностям эволюции литературных языков, которые он характеризует следующим образом: «Если мы присмотримся к литературным языкам современной Европы, то заметим, что каждый из этих литературных языков распространен по сильно дифференциированной лингвистической территории, обнимающей несколько сильно различных друг от друга наречий. При этом ни один из этих больших литературных языков Европы не совпадает вполне ни с каким живым народным говором. Явления эти не случайны, а коренятся в самой природе литературных языков и наблюдаются не только в

Европе, но и во всех других частях света, где только существуют действительно большие литературные языки. Дело в том, что назначение настоящего литературного языка совершенно отлично от назначения народного говора. Настоящий литературный язык является орудием духовной культуры и предназначается для разработки, развития и углубления не только изящной литературы в собственном смысле слова, но и научной, философской, религиозной и политической мысли. Для этих целей ему приходится иметь совершенно иной словарь и иной синтаксис, чем те, которыми довольствуются народные говоры» (ОЭРК, 57). Далее автор поясняет, что хотя при своем возникновении всякий литературный язык исходит из основ какого-либо живого говора, чаще городского, а иногда и «простонародного», он постепенно отходит от этого говора путем его «коверкания» и «насилования», путем выработки особых строгих синтаксических оборотов, производства множества новых слов и т. п. Притом, чем «народная основа сильнее чувствуется, яснее проступает наружу, тем интенсивнее становится ощущение насилования и коверкания, — а это ощущение, разумеется, мешает свободному пользованию литературным языком» (ОЭРК, 57—58). К примеру, если вводимые в литературный язык новые слова берутся из словарного состава определенного народного говора, то ассоциация с их диалектным значением сохраняется и это мешает воспринимать эти слова в значении, которое стремится им придать новая литературная норма. «В силу этого, — заключает Трубецкой, — для литературного языка всегда крайне невыгодно быть слишком близким к какому-нибудь определенному современному народному говору, и при естественном развитии всякий литературный язык стремится эмансирироваться от неудобного и невыгодного родства с народным говором. Но, в то же время, слишком большое расхождение литературного языка и современных народных говоров время от времени тоже становится неудобным» (ОЭРК, 58). Это новое неудобство, по мнению Трубецкого, возникает из-за того, что говоры в звуковом и грамматическом отношении развиваются быстрее, чем литературный язык, развитие которого сдерживается искусственно школьным образованием, авторитетом «классиков», архаической нормой. «Поэтому наступают моменты, когда литературный язык и народные говоры представляют настолько различные стадии развития, что оба они несовместимы в одном и том же языковом сознании. В эти моменты

между обеими стихиями — архаично-литературной и новаторски-говорной — завязывается борьба, которая кончается либо победой старого литературного языка, либо победой народного говора, на основе которого в этом случае создается новый литературный язык, либо, наконец, — «компромиссом» (ОЭРК, 58). Рассматривая разные возможности соотношения литературного языка с говорами (исчезновение говора, на основе которого развился литературный язык, функционирование литературного языка в среде других говоров и т. п.), Трубецкой отмечает, что «именно отдаленность нормального литературного языка от какого бы то ни было живого современного народного говора способствует тому, что этот язык распространяется на территории не одного, а нескольких говоров» (ОЭРК, 58). Свой общий сопоставительный обзор исследователь заканчивает еще одним положением, согласно которому говор, т. е. «живой народный язык», может влиять на другой, «только если оба они существуют одновременно и географически соприкасаются друг с другом». «Между тем, для литературных языков эти условия необязательны: данный литературный язык может подвергнуться сильному влиянию другого, даже если этот последний принадлежит к гораздо более древней эпохе и географически никогда не соприкасался с территорией данного живого литературного языка» (ОЭРК, 58).

«Все эти особенности эволюции литературных языков следует всегда иметь в виду при рассмотрении истории русского языка», — заключает Трубецкой в первом разделе своей статьи (ОЭРК, 59).

Нет нужды говорить о том, сколь важны приводимые положения для истории славянских литературных языков, в том числе и русского. Тезис о влиянии архаического языка прежней эпохи на новый литературный язык хорошо иллюстрируется историей чешского языка в эпоху национального возрождения (XIX в.). Другая идея о победе народного говора, на основе которого создается новый литературный язык, ярко иллюстрируется реформой Вука Караджича, о чем пишет и Трубецкой. А положение об исчезновении живого говора, на основе которого возник литературный язык, может быть подтверждено примером польского литературного языка и т. д. Следовало бы только добавить, что почти все рассуждения Н. С. Трубецкого могут быть отнесены уже к периоду эволюции или формирования национальных литературных славянских языков, т. е. к концу XVIII—XIX в.

обратимся к тому, как далее анализирует Трубецкой историю русского литературного языка и славянских литературных языков.

«Родословие русского литературного языка приходится начинать очень издалека, — от времен славянских первоучителей» (ОЭРК, 59). Язык, на который св. Кирилл и Мефодий перевели некоторые тексты литургической литературы и Св. писания, принято называть «старославянским» или «староцерковнославянским». Трубецкой отмечает, что «язык этот с самого начала был искусственным», что «св. Кириллу и его брату св. Мефодию... пришлось ввести в солунско-славянский говор очень много новых слов», что «эти новые слова были частью взяты из говора моравских славян... частью были заимствованы из греческого, частью же были искусственно созданы из славянских элементов по образцу соответствующих греческих слов». «Таким образом, — объясняет автор, — возник церковнославянский язык, язык с самого начала своего существования чисто литературный т. е. более или менее искусственный, существенно отличающийся своим словарем, синтаксисом и стилистикой от живого народного (солунско-славянского) говора, который лег в его основу. Именно примыкание к более древней греческой литературной языковой традиции помогло превратить живой разговорный язык солунских славян в язык высшей духовной культуры, в язык литературный по существу» (ОЭРК, 59).

По мнению Трубецкого, старославянский с самого своего начала был общеславянским литературным языком. Этот свой тезис он пытается обосновать, и не без успеха, не культурно-историческими и им подобными доводами, а доводами чисто лингвистическими, опираясь на свои положения о языке и диалекте, о распаде языка и т. д., приведенные выше. Ход его рассуждений таков. «Перевод Св. писания и создание староцерковнославянского языка было предпринято славянскими первоучителями еще до начала падения слабых ъ и ь и, следовательно, еще до окончательного распадения праславянского языка. Это обстоятельство надо иметь в виду, чтобы правильно определить место и значение староцерковнославянского языка в истории развития славянских языков. Как явствует из вышесказанного, староцерковнославянский язык можно рассматривать как литературный язык конца праславянской эпохи», так как... «в сущности отдельных славянских языков в это время еще

не было, а были лишь отдельные диалекты единого праславянского языка». «При таких условиях создание одного общеславянского литературного языка для всей территории праславянского языка было предприятием вполне осуществимым, причем за основу для такого общеславянского литературного языка можно было принять любой местный говор. Св. Кирилл принял за основу для этого литературного языка говор солунских славян, по-видимому, только потому, что сам был родом из Солуни и практически владел именно этим говором» (ОЭРК, 60).

В дальнейшем начали возникать местные изводы, и «если в Македонии староцерковнославянский язык еще долго сохранял довольно хорошо свой первоначальный облик, то в других областях очень рано возникли местные переработки этого языка применительно к особенностям местного говора» (ОЭРК, 60). Касаясь русского извода староцерковнославянского языка и излагая основные его, в общем известные черты (замена юсов через *y*, *ю*, *'a*; *g* взрывного — придыхательным и др.), Трубецкой отмечает, что «первоначально произношение церковнославянского языка в разных областях русской территории было довольно различно: строже всего держались южнославянского образца в Киеве, тогда как в Новгороде, с одной стороны, и в Галицко-Волынской области, с другой, отклонения в сторону приближения к фонетике живого местного говора были сильнее. Как бы то ни было, видоизменения касались главным образом звуковой стороны языка... В таком слегка видоизмененном виде церковнославянский язык в древней Руси рассматривался как единственный литературный язык, и на нем писались даже оригинальные, не переводные произведения русских авторов. С течением времени первоначальная пестрота произношения древнерусско-церковнославянского языка сменилась единообразием. В связи с распределением всей русской территории между двумя большими государствами, возникли два центра церковнославянского языка, один — восточный, в Москве, другой — западный, в конце концов локализовавшийся в Киеве» (ОЭРК, 65).

Таковы очень краткие тезисы о происхождении и развитии литературного языка на Руси до XVII в. Из них явствует, что Н. С. Трубецкой, как и его предшественники А. И. Соболевский и А. А. Шахматов, его современники Н. Н. Дур-

ново, В. В. Виноградов⁵ и др., считал, что русские пользовались церковнославянским как своим литературным языком. Таким же литературным языком он был и для православных южных славян, которые успешно развивали его традиции до турецкого нашествия. Разрушение южнославянских царств привело к тому, что «отдельные представители южнославянской образованности с XIV века стали эмигрировать в Россию, где встретили радушный прием и сейчас же были использованы как литературные силы. Благодаря им в русскую церковнославянскую традицию влилась сильная струя церковнославянской традиции сербской и среднеболгарской, и это — в такое время, когда на Балканах эта южнославянская традиция уже постепенно умирала... К XVII веку церковнославянская традиция жила еще только в двух центрах — в Москве и в Киеве, — из которых каждый имел свой район влияния» (ОЭРК, 63—64). По мнению Трубецкого, позднее произошло объединение двух типов церковнославянского языка, при котором верх одержала киевская традиция (что и вызвало решительную старообрядческую реакцию), правда, сама эта традиция изменилась под влиянием московских черт. «Таким образом, в XVII веке из соединения восточнорусского церковнославянского языка с западнорусским (при преобладании именно этого последнего) возник общерусский церковнославянский язык. А так как в предшествующие века русский церковнославянский язык вобрал в себя традицию южнославянскую, прекратившую свое самостоятельное существование, то этот образовавшийся в XVII веке общерусский церковнославянский язык оказался единственным носителем староцерковнославянского преемства и сделался языком всех православных славянских церквей» (ОЭРК, 63—64). «Итак, — заключает автор, — церковнославянский язык русской традиции есть единственный живущий до сего дня прямой потомок старославянского языка славянских первоучителей. Этот же церковнославянский язык русской редакции лежит в основе и светского русского литературного языка» (ОЭРК. 65).

Вводя понятие «светского» литературного языка, Трубецкой предлагает еще одно понятие — «официальный» язык, к которому сначала относились все «деловые» тексты. Этим

⁵ Как известно, книга В. В. Виноградова «Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.» (1-ое изд. М., 1934; 2-е изд. М., 1938) начиналась словами: «Русским литературным языком средневековья был язык церковнославянский» (2-е изд., с. 5).

самым фактически заявляется о существовании диглоссии — древнерусского двуязычия в области письменных языковых форм, а, как будет видно из дальнейшего изложения, возможно, в определенные периоды и в определенных условиях — и форм разговорных. Посмотрим, однако, каким образом и какими словами это положение излагает сам Трубецкой: «Еще в домонгольской Руси областные говоры русского языка были до некоторой степени официальными языками соответствующих городов и княжеств. На церковнославянском языке писались произведения религиозного содержания или вообще касающиеся высшей духовной культуры и церкви, в принципе даже произведения чисто литературные. На-против, все «деловое», относящееся к практической жизни — грамоты, договоры, светско-законодательные акты, завещания, описи и т. п. — писалось на местном — русском говоре с спорадическим введением в текст тех или иных отдельных церковнославянских слов и выражений. С течением времени этот деловой, канцелярский письменный язык, чисто русский по своему словарному составу, грамматическому, синтаксическому и стилистическому строю, постепенно фиксировался. Со времени раздела русской территории между двумя большими государствами, Московским и Литовско-русским, процесс этот еще усилился, и в результате образовались два типа светско-деловых русских языка — западно-русский и московский. Оба языка были в то же время и разговорными языками чиновников и правящих классов соответствующих государств» (ОЭРК, 65).

Н. С. Трубецкой прослеживает отдельно судьбы «западно-русского» и «московского светско-делового языка». Первый, по представлению ученого, быстро полонизировался и в качестве разговорного был в итоге вытеснен польским. Но незадолго до этого была произведена попытка создать на его основе «особый светско-литературный язык (для научных, публицистических и беллетристических произведений)» с некоторыми церковнославянскими элементами. На этом языке еще в XVII в. писалось довольно много, но данный язык не удержался. Иное положение создавалось в Московском государстве. Там «московский светско-деловой язык сложился на основе средневеликорусского говора города Москвы и сделался... не только официальным государственным языком московских приказов, но и разговорным языком служилого сословия Московского государства. Кроме государственных актов, на этом языке писались и некоторые ли-

тературные произведения без особых претензий на «литературность» — например, такие произведения, как описания путешествий в далекие страны или знаменитый памфлет Катошихина. Собственно литературным языком оставался все же язык церковнославянский, на котором писались не только произведения религиозно-учительного характера, но и произведения научного и просто беллетристического содержания» (ОЭРК, 66).

Таким образом, по представлению автора, деловой язык еще в эпоху домонгольской Руси был связан с местными говорами и тем самым не имел единой стабильной нормы, в отличие от церковнославянского, всегда и во все эпохи строго нормированного. Что же касается московского делового языка, то он, надо полагать, обладал определенной, достаточно четкой нормой, и потому, что он возник на основе одного говора, и потому, что был языком московских централизованных приказов. К концу XVII в. и в начале XVIII в., когда был введен в сакральный и литературный обиход общерусский церковнославянский язык, сложившийся на западнорусской (киевской) традиции, тогда же и в разговорном языке высших классов русского общества появились элементы «западнорусского светского языка». Этих элементов, равно как и заимствованных из романогерманских языков, было особенно много у «западнических» настроенных русских людей, которые при Петре Великом стали играть руководящую роль, а «вместе с ними продолжали выдвигаться и коренные киевляне и западноруссы» (ОЭРК, 66).

В XVIII в. наблюдалось тяготение к единому и нормированному разговорному языку русского образованного общества, притом это стремление к норме происходило на фоне достаточно сложной языковой ситуации. «Собственно, в сознании грамотного русского жили совместно, по крайней мере, три языка, каждый прочно ассоциировавшись со своей специальной сферой применения: язык чисто церковнославянский, применяемый в богослужении, в произведениях религиозного содержания и прочно ассоциированный именно с религиозной сферой представлений; собственно русский язык, применяемый в практически-деловой жизни и в «домашних» разговорах на простые житейские темы и ассоциированный с сферой представлений практической повседневной жизни; наконец, упрощенно-церковнославянский язык, ассоциированный с наукой и со светской литературой, более или менее выспренной и торжественной, но без того специфического

оттенка, который отличал чисто религиозную высшую выспренность» (ОЭРК, 67).

Н. С. Трубецкой находит нужным пояснить, что он понимает под «упрощением» церковнославянского языка и под светским литературным языком, противопоставленным языку разговорному. По его словам, «этот язык светской литературы («славяно-российской») по своему словарному составу был чисто церковнославянским, отличаясь в этом отношении от богослужебного языка только сначала избеганием, а потом и отсутствием некоторых специфических церковных слов (вроде **абие**, **егда**, **етеръ**, **иногда** в значении «некогда» и т. д.), но в своем грамматическом строе приближался к русскому разговорному как по отсутствию некоторых специфически церковнославянских форм (например, форм прошедшего времени вроде **несохъ носящее**; форм двойственного числа, дательного на **-ови**, множественного на **-ове** и т. д.), так и присутствием специфически русских окончаний и синтаксических оборотов» (ОЭРК, 67).

Любопытно, что Н. С. Трубецкой не анализирует и даже не упоминает «ломоносовской» теории трех стилей, мимо которой не проходили многие исследователи литературно-языковой ситуации в XVIII в.

«Три языка» — церковнославянский, собственно русский разговорный и упрощенно-церковнославянский, — в принципе укладываются в схему теории трех стилей, с той основной разницей, что Н. С. Трубецкой пользуется при их разграничении, с одной стороны, функциональными (богослужебный, разговорный и т. д.), с другой — социологическими (деловой, разговорный, светский и т. п.) параметрами (признаками). Впрочем, он сам указывает на то, что различие «языков» со временем для двух из них стало восприниматься как различие стилей и постепенно сглаживалось. По сути дела, ломоносовское восприятие языковой ситуации сменялось шишковской. «Из тех трех языков, которые совместно жили в сознании каждого грамотного русского, чисто-церковнославянский выделялся как особый языковой тип с застывшей, строго определенной и (в принципе) более уже не подлежащей изменению структурой и строго определенной сферой применения. Остальные два — чисто русский деловой и упрощенно-церковнославянский светско-литературный — сознавались не как два особых языка, а скорее как два разных стиля одного языка, причем граница применения того и другого постепенно становилась все менее определенной. Со-

образно с этим, по-видимому, изменилось и произношение упрощенно-церковнославянского языка, и изменилось в сторону приближения к чисто русскому. Так получилось, что одно и то же церковнославянское по своему происхождению слово в богослужебном тексте произносилось иначе, чем в тексте светском литературном (например, в первом случае — с оканьем, во втором — с аканьем). В то же время шло, все усиливаясь, изменение грамматического состава светско-литературного языка, опять-таки в сторону применения чисто русской грамматики. Наконец, началось и выравнивание словарного состава» (ОЭРК, 67—68).

Выравниванию словарного состава ученый уделил много внимания. Проникновение словарных элементов «светско-литературного языка» («упрощенно-церковнославянского») в «разговорно-деловой» («чисто русский деловой»), помимо прочих причин, объясняется и «изменением культурного облика грамотных русских», для которых разговоры на «высокие» темы становились обычными и повседневными. Поэтому «к концу XVIII века разговорный язык руководящих слоев русского образованного общества настолько «олитературился», а светско-литературный язык, употребляемый теми же слоями в писаниях, настолько «обрусл» в своем формальном составе, что слияние этих обоих языков воедино стало почти неизбежным. К началу XIX века это слияние действительно и произошло» (ОЭРК, 68).

После такого слияния разговорный язык оказался образцом и для письменного литературного языка, т. е. «на этом языке стали писать все, начиная от частных писем и вплоть до философских трактатов и стихотворений». Все же, замечает Трубецкой, языковые различия, характерные для XVIII в., оставили свой след в литературном языке первой половины XIX в.; в частности, это сказалось в различном процентном отношении церковнославянских и русских элементов в прозе и поэзии. В поэзии вес церковнославянизмов (например, злато, дева, очи, зеница и т. д.) был большим, чем в прозе. Большим числом церковнославянизмов обладал и научный язык. Это свидетельствует, что церковнославянизмы стали уже стилевым показателем и притом не единственным и отчасти факультативным.

Свой краткий очерк истории развития русского литературного языка, изложенный нами в еще более сокращенном виде, Н. С. Трубецкой завершает образным итогом: «Можно сказать, что современный русский литературный язык

получился в результате прививки старого культурного «садового растения» — церковнославянского языка — к «дичку» разговорного языка правящих классов русского государства. Русский литературный язык в конечном счете является прямым преемником староцерковнославянского языка, созданного Свв. славянскими первоучителями в качестве общего литературного языка для всех славянских племен эпохи конца праславянского единства» (ОЭРК, 69).

Правильное представление о происхождении и современных свойствах русского литературного языка возникает, по мнению исследователя, при сопоставлении его истории с историей других современных славянских литературных языков. «Кроме русского литературного языка, преемником староцерковнославянской традиции является только еще современный болгарский литературный язык. Но преемство здесь не прямое, как в русском, а опосредствованное русским влиянием. В эпоху так называемого новоболгарского возрождения [...] болгарский литературный язык [...] был лишь, так сказать, болгаризованной формой русского литературного языка, причем, естественно, из русского литературного языка почерпались, главным образом, его церковнославянские элементы, но все же в их русской, а не среднеболгарской форме [...]. Прошедший через горнило русского литературного языка, церковнославянский словарный материал в русском обличии является тем мощным звеном, которое связывает современный болгарский литературный язык с общеславянской литературноязыковой традицией» (ОЭРК, 69). Другие южнославянские литературные языки не связаны с церковнославянской традицией, притом «современный сербскохорватский литературный язык возник ex abrupto на основе простонародного говора» (ОЭРК, 70). Западнославянские литературные языки также развивались вне связи с церковнославянской традицией. Хотя эта традиция в свое время проинклила в Чехию, но она не смогла пустить глубоких корней, и старочешский литературный язык, как и все другие западнославянские литературные языки, возник вне связи с ней. Возникновение чешского языка можно отнести к XIII в., а старопольского — к XIV в., лужицких — к XVI в., а словацкого — к XVII—XVIII вв. Н. С. Трубецкой считает нужным сказать, что «хотя каждый из современных западнославянских литературных языков возник самостоятельно, притом на основе данного живого разговорного языка, тем не менее все они связаны друг с другом известной общей ли-

тературноязыковой традицией. Но связь эта носит характер не преемства, а взаимного влияния, причем источником этого влияния является литературный язык чешский, сильно повлиявший в средние века на польский, в новое время — на словацкий и оба лужицкие и при своем возрождении сам испытавший на себе польское влияние» (ОЭРК, 72).

Немало места уделяется в статье истории украинского литературного языка. Автор отмечает большую взаимную близость всех восточнославянских наречий и диалектов, что ведет к взаимопониманию носителей этих наречий, особенно в контактных зонах. «Различия между основными русскими («восточнославянскими») наречиями, — великорусским, белорусским и малорусским, — не настолько глубоки, чтобы затруднить взаимное общение представителей этих наречий. Что касается до давности этих различий, то она тоже сравнительно незначительна» (ОЭРК, 73). Тем не менее, как показывает общеевропейский опыт, удаленность (resp. близость) диалектов друг от друга не является необходимым условием возникновения нового литературного языка. Тем не менее новый украинский литературный язык возник «вне всякой связи с вымершим западнорусским литературным языком». Его основателями были Котляревский и Шевченко, избравшие для своих поэтических сочинений говоры Полтавщины и Киевщины, что «вполне уместно и мотивировано самим содержанием» их произведений. Но известная часть украинской интеллигенции захотела большего, именно захотела создать на основе малорусского наречия настоящий литературный язык, применимый не только в вышеупомянутом литературном жанре, но и во всех других и способный стать органом умственной культуры для всей украинской интеллигенции» (ОЭРК, 75). Для этого, по мнению Трубецкого, следовало примкнуть к какой-нибудь традиции или к русско-церковнославянской, или к польской, и именно с последней и произошло несколько искусственное, но тем не менее осуществившееся слияние. Безусловно интересные и в некоторых своих частях достаточно спорные взгляды Трубецкого на формирование украинского национального литературного языка требуют своего отдельного изложения и рассмотрения. Относительно белорусского литературного языка он не писал ничего.

Таким образом, Н. С. Трубецкой делит славянские литературные языки на три группы: а) сербскохорватский и

словенский, не связанные с какой-либо традицией (или освободившиеся от нее); б) русский и болгарский, основанные на церковнославянской традиции; в) западнославянские и украинский, связанные с чешско-польской традицией. Различие заключается в том, что в группе б) обнаруживается связь *по преемству*, а в группе в) — связь *по влиянию*. Автор поясняет, что «различие это, конечно, объясняется разницей во времени возникновения источников традиции той и другой группы. Староцерковнославянский язык возник в конце эпохи праславянского единства, т. е. тогда, когда отдельные славянские наречия относились друг к другу еще как разные диалекты одного языка, а не как самостоятельные языки. Поэтому старославянский язык был в потенции еще общеславянским литературным языком. Пересадка его из Солуни в восточную Болгарию, из Болгарии — в Сербию и Россию и живое взаимодействие всех этих его очагов были возможны именно потому, что в каждом из этих очагов он ощущался по сравнению с местным народным языком не как язык иностранный, а просто как язык литературный. И позднее, когда отдельные народные языки уже основательно разошлись, церковнославянский язык, например, у нас в России, ощущался не как чужой, а просто как старинный, устаревший, но тем не менее свой — родной литературный язык. Напротив, основной источник западнославянской (чешско-польской) литературной традиции, язык старочешский, сложился как литературный язык уже тогда, когда отдельные славянские языки совершенно обособились друг от друга. Пересадка его, хотя бы в Польшу, была невозможна, а возможно было лишь его влияние на местный польский язык» (ОЭРК, 78—79).

Между двумя группами славянских литературных языков, как отмечает ученый, тоже существуют «линии связи». Русский влиял на чешский в эпоху национального Возрождения (XIX в.), несколько раньше (с XVII в.) польский влиял на русский и т. д. Польский был и передатчиком западного, в первую очередь немецкого влияния. Ср. *замок*, *право* (в значении *jus*), *духовéство* (но место ударения в *духóвный*), *обывáтель*, *мешáне*, *правомóчный* и т. д.: «слова эти взяты из польского, но в самом польском они представляют из себя лишь ополяченную форму соответствующих чешских слов, которые, в свою очередь, являются искусственными «кальками» немецких слов *Schloss*, *Recht*, *Geistlichkeit*, *Bewohner*, *Bürgers*, *rechtskräftig* и т. д.» (ОЭРК, 80).

Сравнение со структурой и историей других славянских литературных языков привело Н. С. Трубецкого к выводу о целом ряде важных преимуществ, которыми обладает русский литературный язык. Эти преимущества носят внешний и внутренний характер. К внешним преимуществам относятся однородность и устойчивость внешнего облика, обусловленные продолжительной чисто литературно-языковой традицией и вытекающей из нее независимостью от народных говоров. К внутренним преимуществам относится прежде всего богатство словаря языка, особенно в оттенках значения слов. Эти оттенки могут иметь «торжественный и поэтический» обертон (**ладья-лодка, перст—палец, око—глаз, уста — рот** и т. д.), абстрактный характер (**страна — сторона, глава — голова, влечить — волочить, вопросить — спросить** и т. д.), поэтически напыщенный (**чело, брада, злато, млад**) ученый (**ибо, дабы, средина**). Наконец, немало слов церковнославянского происхождения употребляются уже без оттенков. Такие слова — носители нейтрального значения, а их коррелятивные чисто русские пары оказываются специально стилистически мотивированными (**острый — вострый, пламя — полымя**). Следующим безусловным преимуществом является совершенная техника образования «новых слов». «Для того, чтобы такие «новые слова» стали действительно «этикетками», обозначающими только данное понятие как таковое, необходимо, чтобы те уже существующие «старые слова», из которых (или из частей которых) эти новые слова образованы, не имели слишком ярко конкретного значения: иначе ассоциация с этими значениями будет мешать воспринимать данное слово (как простую «этикетку» данного понятия. И тут-то русскому литературному языку приходит на помощь его церковнославянская словарная стихия... Если слово **млекопитающие**, то «этикетки» не получится, а будет определенное высказывание лишь об одном, а не о всех признаках данного класса животных...» (ОЭРК, 83). То же самое, по мнению Н. С. Трубецкого, можно сказать о **Млечном пути (молочная дорога), пресмыкающихся (ползающие), влиянии /вливании** и т. п. Наконец, он отмечает многочисленные стилистические возможности, о которых мы в данной статье умалчиваем.

Однако нельзя пройти мимо рассуждений о преимуществах церковнославянского языка как международного, межэтнического или, лучше сказать, надэтнического средства

общения и орудия культурной, литературной и религиозной жизни. Вот что говорит об этом сам ученый: «Сопряжение церковнославянской и великорусской стихии, будучи основной особенностью русского литературного языка, ставит этот язык в совершенно исключительное положение. Трудно указать нечто подобное в каком-нибудь другом литературном языке. Литературные языки мусульманского мира основаны всегда на сопряжении местного, народного языка с языком арабским, иногда еще и на сопряжении этих двух языковых стихий с персидской (например, в турецком литературном языке). Но аналогия с русским языком здесь неполная, ибо дело идет о сопряжении языков совершенно различных, непохожих друг на друга не только по словарю, но и по всему своему грамматическому строю: арабский язык — семитический, персидский (а также афганский, хиндиjsкий и т. д.) язык — индоевропейский, а турецкий язык — туранский. Эти языки по всей своей природе настолько различны, что неспособны слиться друг с другом в одно органическое целое и всегда продолжают существовать, не смешиваясь друг с другом. То же следует сказать и о сопряжении японского народного языка с китайским в японском литературном языке: весь строй «корневого» китайского языка слишком отличается от строя «агглютинирующего» японского языка, и это делает невозможным их органическое слияние. Нет полной аналогии между русским литературным языком и романскими, например, французским» (ОЭРК, 85). Далее Трубецкой подробно анализирует латинско-французскую ситуацию и показывает, что она менее гомогенна, чем церковнославянско-русская. Все это дает ему возможность утверждать, что «русский литературный язык в отношении использования преемства древней литературно-языковой традиции стоит, по-видимому, действительно особняком среди литературных языков земного шара» (ОЭРК, 86).

Последние VII и VIII разделы статьи «Общеславянский элемент в русской культуре» посвящены важному вопросу о реальной и возможной роли русского языка как языка международного общения и языка межнационального общения народов России — СССР, проблеме использования русской гражданской кириллицы «для нерусских языков нашей страны». Трубецкой решительно высказывается в пользу кириллицы, в которой видит прогрессивное начало, «в противоположность латинскому алфавиту, этому символу обезличи-

вающего империализма романо-германской цивилизации и воинствующего общеромано-германского шовинизма, лицемерно прикрывающегося лицою «интернациональности» и «общечеловечности» (ОЭРК, 93). Эта важная тема также требует отдельного и внимательного рассмотрения.

Таковы в общих чертах взгляды Н. С. Трубецкого на возникновение и историю русского литературного языка. Многое в этих взглядах нам кажется уже известным, принятым и устоявшимся в науке, многие разделы истории русского литературного языка в наше время разработаны полнее и подробнее, кое-что кажется не совсем убедительным, спорным, а к некоторым положениям хочется добавить дополнительные аргументы. Такие желания и мысли возникают, когда читаешь работу по частям, но в общем она поражает своей продуманностью, стройностью, цельностью концепции и связанностью отдельных ее частей. Если учесть к тому же, что статья писалась в середине 20-х годов (автору было немногим более 35 лет), когда русское языкознание располагало рядом по сути дела разноплановых и несколько отрывочных исследований К. Аксакова, Я. Грота, А. Будиловича, П. Житецкого, А. Соболевского, А. А. Шахматова, С. Булича и других ученых и когда еще не было ни статей и книг В. В. Виноградова⁶, ни разысканий Г. О. Винокура, Б. В. Томашевского, Н. Н. Дурново и др., то нужно признать, что статья Н. С. Трубецкого была первым в славистике трудом, рассматривающим историю русского литературного языка на фоне развития всех славянских литературных языков. На том же основании, вероятно, следовало бы отдать пальму первенства Трубецкому в области применения широкого культурологического подхода к истории русского литературного языка в целом. Велики заслуги его и в разработке вопросов функциональных сфер литературного языка, вопросов соотношения «внешней» и «внутренней» истории литературного языка. Наконец, «общеславянский элемент» является первым и, безусловно, в принципе удачным опытом применения типологического подхода к изучению литературных языков.

В середине 20-х годов нашего века разработка истории зарубежных славянских литературных языков была в та-

⁶ Статья В. В. Виноградова «К истории лексики русского литературного языка» (сб.: Русская речь. Нов. сер., 1. Л., 1937) вышла в том же году, что и «Общеславянский элемент...» Трубецкого, а знаменитые виноградовские «Очерки» и книга «Язык Пушкина» — семью и восьмью годами позже.

ком состоянии, которое даже трудно назвать зачаточным. Лишь в 30-е годы и, вероятно, все же не без некоторого влияния со стороны Н. С. Трубецкого и Пражского кружка, активным членом которого он был, появились интересные работы Б. Гавранка по чешскому и Б. Унбегауна по сербскому литературному языку.

Расцвет исследований по истории славянских литературных языков пришелся на послевоенный период, когда о работах Трубецкого уже забыли, хотя многие его идеи получили подтверждение и разработку в трудах крупных отечественных и зарубежных славистов. Не было никакого нарочитого умалчивания или тем более прямого или косвенного заимствования положений Трубецкого: лингвистическая наука сама пришла ко многим аналогичным положениям, занялась их более детальной разработкой, ушла далеко вперед.

Недавно, спустя 90 лет после написания, мы познакомились впервые с курсом «Истории русского литературного языка» А. И. Соболевского, образцово изданным и прокомментированным А. А. Алексеевым⁷. Чувство огорчения, что русские филологи не знали его раньше, у многих быстро сменилось чувством удовлетворения, что наука об истории русского литературного языка имеет, говоря словами Н. С. Трубецкого, «долгую и непрерывную традицию», имеет «свое преемство». Это же можно сказать, ознакомившись с исследованием Н. С. Трубецкого более чем 50-летней давности. И добавим — оно возбуждает в нас и ощущение традиции, и ощущение нового и в то же время непреходящего, вечного в науке⁸.

⁷ Соболевский А. И. История русского литературного языка. Л., 1980.

⁸ Комиссия по истории филологической науки при Отделении литературы и языка АН СССР готовит к изданию труды Н. С. Трубецкого в двух томах. В эти тома не войдут «Основы фонологии», но в них найдут место его многочисленные другие лингвистические, литературоведческие и фольклористические труды.

ОККАЗИОНАЛИЗМЫ А. БЕЛОГО И СЛОВАРЬ В. И. ДАЛЯ

Творчество А. Белого можно рассматривать как огромный эксперимент, а каждое его произведение — и как часть общего эксперимента, и как вполне самостоятельный эксперимент со своей собственной, более узкой программой.

Художественное творчество А. Белого самым тесным образом связано с его филологическими разысканиями, которые в одних случаях формулируют программу соответствующего художественного эксперимента, в других подытоживают его, в третьих содержат ключ к пониманию определенного явления, отраженного в художественном творчестве, — ключ, помогающий увидеть в нем то, что скрыто от непосредственного восприятия.

Все частные эксперименты А. Белого подчинены одной общей идеи — идее о соответствии формы и содержания. Все уровни художественного произведения, по Белому, находятся в отношениях соответствия: идея выражается не только в слове, образе, сюжете, но и в ритме, синтаксисе, звуковой организации текста. Этот взгляд на соотношение разных уровней художественного произведения побуждал строить произведение как систему, организованную принципом соответствия, который охватывал бы все уровни произведения, вплоть до графики. При таком устойчивом отношении к произведению в целом в каждом отдельном произведении тот или иной его уровень выходит на первое место, становясь основной сферой проявления экспериментальных устремлений писателя.

В трех последних, наименее известных романах А. Белого, — «Крещеный китаец», «Москва» и «Маски», написанных после революции в советской России¹, — предметом эксперимента становится слово как экспрессивная единица, а общая задача видится в увеличении его энергии, его потенциала. Решается эта задача на огромном словесном материале. Словарь Белого в это время становится разнооб-

¹ Цит. по: Белый А. Крещеный китаец. М., 1927 (далее КК); он же. Москва. Ч. I — Московский чудак. М., 1926 (далее М I), ч. II — Москва под ударом. М., 1926 (далее М II); он же. Маски. М., 1932 (далее М); он же. Возвращение на родину. М., 1922 (далее ВР).

разнее и пестрее, чем когда бы то ни было, расширяясь в самых разных направлениях и демонстрируя ту всеохватность и безмерность, которые поражали современников в самом А. Белом. Писатель обращается не только к наличному языковому материалу, пополняя свой словарь диалектизмами, просторечием, терминологией, материалом других языков (французского и отчасти немецкого), но и сам занимается словотворчеством гораздо более активно, чем в другие периоды. По подсчетам исследователя окказионализмов А. Белого Лили Хиндлей у него около трех тысяч новообразований, большая часть которых содержится в последних романах².

Опору для своих экспериментов со словом А. Белый находит в словаре В. И. Даля и в творчестве Гоголя, которые изучены под определенным, очень специфичным углом зрения. Белый дважды обращался к творчеству Гоголя и как исследователь, и как писатель. В «Серебряном голубе» он использовал некоторые особенности гоголевского сказа. В более позднее время его внимание обращено на другие приемы гоголевского словоупотребления, которые описаны в исследовании «Мастерство Гоголя», представляющем своего рода комментарий к творчеству А. Белого, иногда более точный, чем автокомментарии писателя. Отдельные явления гоголевского языка и приемы изображения (гипербола, смешение перспективы) кажутся Белому источником художественных исканий разных писателей начала века, в первую очередь Маяковского. «Гоголь не замкнут собранием сочинений, ищите его в каждом художнике слова»³; «футуристы с Хлебниковым отбросили деление на архаизмы и неологизмы: в праве творить свое слово, которое — нерв языка, из него не выкращиваемый критиком нерводером; в исследованиях Вундта, Фосслера, в грамматике Ломоносова, в словарных роскошествах Даля, не только в статьях Якубинского, Брика, Тынянова — хартия вольностей, данная «зауми», которую в XIX веке ввел в прозу... Гоголь»⁴.

Себя Белый ощущает самым последовательным продолжателем Гоголя: «...проза Белого в звуке, образе, цвете и сюжетных моментах — итог работы над гоголевскою языковою образностью; проза эта возобновляет в XX столетии «школу» Гоголя»⁵.

² Hindley L. Die Neologismen Andrej Belyjs. München, 1966, S. 143.

³ Белый А. Мастерство Гоголя. М.; Л., 1934, с. 320.

⁴ Там же, с. 312.

⁵ Там же, с. 309.

И действительно, многое из того, что видит Белый у Гоголя, можно без труда найти и у Белого, но обычная для него гиперболизация отдельных приемов, которая смешает все соотношения и пропорции чужого творчества, ведет к возникновению явлений, столь далеких от источника, что связь с ним уже не ощущается (при сходстве отдельных явлений — полное несходство целого). Например, нагромождения существительных, прилагательных, глаголов, у Гоголя рассредоточенные, расслоенные другими приемами, у Белого собираются внутри небольших фрагментов текста: *Москва! Разбросалась высокими, малыми, средними, золотоглавыми церковками очень разных эпох; под пылищи небесные встали — зеленые, красные, плоские, низкие или высокие крыши оштукатуренных, или глазурью одетых, иль просто одетых в лохмотья опавшей известки домин, домов, домиков, севших в деревьях иль слитых, колончатых, иль бесколонных, балконных, с аканфами, с карнатидами, грунно поддерживающими карнизы, балконы, — фронтонные треугольники домов, домин, домиков, складывающихся — Люлюхинский и Табачихинский с первым, вторым, третьим, пятым, четвертым, шестым и седьмым Гнилозубовыми перекулками...* Здесь человечник мельтешил, чихал, голосил, веरещал, фыркал, шаркал, слагаясь из робких фигурок, выворкивающихся из ворот, из подъездов пропсяченной, непроверенной жизни: ботинками, туфлями, серозелеными пятками иль каблуками; покрытые трепаными картузами, платками, фуражками, шляпами — с рынка, на рынок трусили... (М1).

Еще более далекие от Гоголя результаты дает работа со специфическим языковым материалом, в первую очередь диалектным.

Хотя отдельные случаи употребления диалектных слов встречаются в «Серебряном голубе» и «Петербурге» (в «Петербурге» обращает на себя внимание слово «гуторить», употребленное как прямое авторское слово), увлечение диалектизмами начинается в «Крещеном китайце», захватывает «Москву» и в несколько меньшей степени «Маски».

Появление разнообразных стилистически окрашенных средств, в том числе просторечных и диалектных, в прозе Гоголя было вызвано последовательным применением того метода изображения действительности, который был найден Пушкиным. «Это — метод смешения повествовательно-

го стиля, авторского изложения с формами речи, присущими самим изображаемым героям, их быту»⁶.

Эта особенность словоупотребления у Гоголя ускользает от внимания А. Белого. Разные по происхождению и функциям явления гоголевского стиля — свободное обращение к разнородному лексическому материалу («глаголы, редко употребляемые, народные, звукоподражательные, подчас заумные»⁷), богатство синонимических обозначений, морфологическое переоформление слов (замена приставок и суффиксов), ломка обычной сочетаемости, звуковые повторы и отдельные частные их проявления — Белый-исследователь рассматривает под одним углом зрения — как способы создания повышенной экспрессивности речи.

Такое отношение к необычному слову определяет своеобразие романов А. Белого, который в сильной степени уходит от принципа изображения среды и персонажа в свете их «речевого самоопределения» (В. В. Виноградов), хотя нельзя сказать, что этот принцип совершенно чужд ему — в авторском повествовании рассматриваемых романов растворены отдельные отражения речи персонажей, хотя и немногочисленные.

Увлечение А. Белого диалектным материалом совпадает по времени с увлечением диалектизмами, которое характерно для советской литературы 20-х годов. Вполне возможно, что это общее увлечение повлияло и на Белого, который был очень восприимчив ко всему новому, необычному. Однако он по-своему мотивирует включение диалектных элементов в ткань повествования.

В отличие от многих писателей того времени, которые сами были в той или иной степени носителями какого-то диалекта, Белый, родившийся в семье московского профессора-математика и большую часть жизни проведший в Москве, Петербурге и за границей, диалекта не знал. Народную речь — и в прозе, и в стихах (некоторые стихотворения сборника «Пепел» представляют собой монолог «простонародного» персонажа) — он воспроизводит при помощи отдельных просторечных элементов и фонетических искажений книжных, по преимуществу заимствованных слов. Весь диалектный материал, который содержится в изобилии в его последних романах, взят из словаря В. И. Даля. Ни у

⁶ Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв. М., 1938, с. 371.

⁷ Белый А. Указ. соч., с. 202—203.

одного из советских писателей того времени нет такого большого количества диалектного материала, как у Белого, и тем более такого препарирования этого материала.

Отношение Белого к словарю Даля очень своеобразно. Это, с одной стороны, тесная зависимость от него — из словаря черпается не только большое количество слов, но и отдельные сочетания и выражения. В одной из статей словаря содержится сочетание *мокросизый туманец*, оно перенесено в «Москву», такого же происхождения сочетание *желтожириая стерлядь* в романе «Маски». Перечисление *безали... шапки, шапочки, просто шапчурки* представляет собой извлечение из соответствующей статьи словаря, где слова *шапочка* и *шапчурка* поясняют заглавное слово *шапка*. С другой стороны, наблюдается полная свобода в обращении со словарем, как писал Белый: ««Словарь», начавшийся с благословения Пушкина, поздней вызвавший восхищение Ленина, [...] — собрание сырья, вскрывающего пружины грамматики»⁸. Отношение к словарю как к «собранию сырья» во многом определяет и свободу обращения со словарным материалом в произведениях Белого. Она выражается прежде всего в том, что диалектный материал лишен для А. Белого локальной окраски. Происходит парадоксальное явление. Роман «Серебряный голубь», действие которого происходит в деревне, а часть действующих лиц — крестьяне, почти лишен диалектизмов. Действие трех последних романов происходит в Москве, в профессорской среде по преимуществу, и еще уже — в семье, в которой вырос сам Белый (в особенности ясна эта автобиографическая основа в романе «Крещеный китаец»), но в изображение московского быта переносится огромное количество диалектных слов самого разного происхождения.

Диалекты, нашедшие отражение в далевском словаре, — курский, тверской, воронежский, архангельский, олонецкий, владимирский, уральский, вологодский и т. п. — поставили материал для последних романов А. Белого. Слова разных диалектов сочетаются в очень узких контекстах, иногда в пределах одной фразы. Они входят и в авторскую речь и в речь персонажей: *Кто-то станет и скажет в окно: «Дуролопа!»; «Ну, чего вы лазгочете?»* Часть диалектных слов превращается в собственные имена и используется как фамилии — *Боско, Олябыши*; часть фамилий опирается на диа-

⁸ Белый А. Указ. соч., с. 42.

лективные слова — *Трупершов*, *Слудъянская*, *Дедеренский* — от *дедер* — 'черт, нечистый'. Так образуются не только русские фамилии, но и фамилии иностранные: *Доротея Иоанновна Шни*; ср. у Даля: *шини* — кмч. 'взоры, бабы сплетни'.

Такое необычайное расширение сферы применения диалектизмов объясняется тем, что диалектное слово для Белого — прежде всего экспрессивная единица. Уже одно это превращает все диалектные слова в своего рода окказионализмы. Но своеобразие использования диалектных слов в поздних романах А. Белого этим не ограничивается. Диалектизмы, утратившие связь со своей естественной средой, обладают разными степенями свободы. Лишь часть их сохраняет в новом словесном окружении свое значение. Это такие слова, как *мизикать* — 'издавать слабый свет': *чуть-чуть мизикает лампа-кривуля своим керосиновым пламенем*; *бобыня* — тул., влд. 'надутый, чванный, гордый, спесивый человек': *мама бобыней, надулась на папу; вертепижистый — от вертепижины* — мск. 'водоронны во множестве, овражистые извилины': *берег же был вертепижистый; гиряный — юж.* 'стриженный, или вовсе плешивый, безволосый': *с алкоголическим видом тащился — гиряный, безбакий; дербить — костр.* 'чесать, скрести, царапать, либо драть, теребить': *дербил поясницу и т. п.*

Диалектное слово представляется более выразительным, нежели общепотребительное, и вытесняет последнее и в тех случаях, когда обладает достаточно ясной внутренней формой: *дворыничать* — твр. 'побираться или заниматься по чужим дворам'; *двороброд* — 'колоброд, шатун, нищий'; *косохлест* — 'косой дождь, который хлещет в окна, в двери, под навесы'; *саянец* — пск. 'мелкий дождь' и т. п.

Особое место занимают слова с обнаженной внутренней формой, передающие образные представления: *Мы по жизни проходим волками, и жизнь есть волковня* (ср. у Даля: *волковня* — 'волчья яма'); *город — жегучка, жегло* (ср. у Даля: *жегучка* — 'крапива', *жегло* — 'каленое железо'); *квартира — ледовня* (ср. у Даля: *ледовня* — смл. 'погреб со льдом'); *Мандро... волколисом глядел* (ср. у Даля: *волколис* — 'помесь от волка и лисы') и т. д.

Диалектизмы, употребленные в прямом значении, составляют своего рода точку отсчета для других употреблений диалектизмов. В ряде случаев понимание диалектного слова, подсказанное контекстом, близко к прямому значению диалектизма или связано с ним: *глаза — мутные вытараски*

при диалектном *вытарасок*, *вытараска* — 'лупоглазый человек'; видели местность, кричавшую громким *галданом* солдатским при диалектном *галдан* — 'крикун, нахал и гуляка'.

Но не менее характерно для А. Белого полное переосмысление диалектного слова. В первую очередь это относится к словам с неясной внутренней формой. Утрачивают свое прямое значение слова *белендрясы* (явственно слышится звук белендрясов, строчимых на швейной машинке; ср. у Даля: *белендрясы* — кур., орнб. 'балясы, лясы; вздорное, пустое, ничтожное дело, слова или вещи...'), *лякать* (печник лякал пальцами глину; ср. у Даля: лякать — юж. зап. 'пугать'), *мездрявый* (*мездрявенъкий нос*). Слово *бляблый* в сочетании *бляблая кожа* не имеет ничего общего со значением диалектного *блябла* — вят., оренб. 'заушина, оплеуха, пощечина, мордотрецина'.

Один из частных путей переосмыслиения диалектных слов — превращение их в глаголы звучания и речи: тут *мама не выдержит: и оправляя тончайшую выторочь лифа, она мелюзит*: «Что ты право, какой-то дергач: задергунишь чужое» (ср. у Даля: *мелюзить в глазах* — 'мелтьешить, рябить'); *гулко пошел дуботолить по плитам паркета*. Последний пример интересен еще и тем, что в словаре содержится только существительное *дуботол* со значением 'остолоп, болван, дурак'.

И напротив, глаголы *речи*, к которым Белый испытывал особое пристрастие, последовательно сочетаются с неодушевленными существительными: *бутетенило стуло; дроботала пролетка* (эта фраза — один из лейтмотивов «Москвы»); *варакает подо мною пружина; колоколец коровы долдонит; долдонит от шляпки гвоздей молоточной железкой к багету* и т. п.

Смысловые смещения возникают и тогда, когда слово попадает в необычное сочетание другого рода. Например, глаголы конкретного действия Белый сочетает с отвлечеными существительными, размывая значение глаголов: *буторахнуться мыслями, бабнет непристойность, отбацав свое колосапое дело*.

Характер переосмыслиения слова может быть обусловлен теми звуковыми ассоциациями, которое оно вызывает. Слово, возникающее по звунию, определяет смысловое наполнение диалектного слова, вытесняя его истинное значение. В словаре Даля слово *желдак* значит 'солдат, воин, ратник'; у Белого же оно сближено со словами *желвак*: с жел-

дачком на носу. Слово *шушлепень* у Даля значит 'лентяй, увалень, лежебок' (вят.); у Белого же оно аналогично слову *шлепанье: шушлепень мокрых калош*. Во фразе: *Ветер рванул верею крутых бумажек — верея* — не столбы, на которые навешиваются полотнища ворот, а скорее *верея* — по созвучию.

Иногда выбор того или иного диалектного слова продиктован звуковым принципом. Звуковое сходство ряда слов ведет к переосмыслинию некоторых из них. Глагол *лякать*, о котором уже шла речь, попадает по созвучию в соседство со словом *сякоть* и утрачивает свое первоначальное значение: *чмокает, лякая, млявая сякоть*; ср. в стихах: *как упоительно калошей лякать в сякоть*; одновременно утрачивает свое первоначальное значение и слово *млявый* (ср. у Даля: *млявый человек* — 'слабый, хилый, вялый'). Аналогичным образом переосмысляются и глаголы *таракать, брюкать*: *громко таракают: горлом, ножами, тарелками* (ср. у Даля: *таракать* — тул., орл. 'болтать, беседовать'); *И желоб, укушенный ветром, как вепрь, — хрюкал, брюкал* (ср. у Даля: *брюкнуть* — зап. 'разбухать, пухнуть').

Переосмыливаются и слова с ясной внутренней формой. В словаре Даля они, как правило, обозначают конкретные предметы, у Белого же утрачивают отнесенность к конкретному предмету, «специализированный» и ограниченный характер. На первое место выходят лежащие на поверхности ассоциации, подсказанные внутренней формой, но во многих случаях достаточно неопределенные. Например: *весь он — зернильня; головка моя — острый клювик; она наклевалась зерном, зерном знания* (КК); *заслуженный профессор на лекциях становился, ну право, какой-то зернильнею; стаи студентиков, точно воробушки, с перечириком веселым клевали за формулкой формулуку, за интегральчиком интегральчик* (М1) (ср. у Даля: *зернильная* — 'рабочая, где порох зернится'; *зернить* — 'обращать в зерно, крупить, молоть либо скатывать зерном').

Такова же судьба слов *зимарь, дымарь, катанцы, жмурик*, которые в диалекте значат соответственно: *боров, покинутый до другого года; печная труба, плетневая, камышевая, обмазанная глиной; валенки; покойник*. У Белого же *зимарь* — 'зимний ветер': *устроил дымарь — надымил*; *катанцы* — 'что-то катающееся'; *из глаз сделал жмурики* — 'зажмурил глаза'. Утрачивают значение, зафиксированное в словаре Даля, и такие слова, как *валеж* — в диалекте' падеж,

чума, мор на скот' (*Москва страшновата: гнилая она развалинья в юле; душевный валеж открывается под раскаленными зданиями*); *варовик* (день — не день — варовик) — пенз. 'посудина для кваса; кадка, в которую наливают кипяток, вар' (ср. *вар* — 'солнечный жар, палящий зной; кипяток, кипящая вода'); *белашика* — 'ласковая кличка белой коровы' (ср. *три ступени* — *белашики*); а также *золотарня, холдай, мигунок, миганец, звенец, синерод*.

Знание значений, которые слова имеют в диалекте, в этих случаях мешает их восприятию, тем более что слова эти — в принципе, если не знать их источников — можно рассматривать не как семантические, а как материальные окказионализмы. Экспрессивный эффект слова ослабевает реже, если не знать его значение. Например, в такой фразе, как *Мы по жизни проходим волками, и жизнь есть волковня*, существенно, что *волковня* — в словаре Даля — 'волчья яма'. Также пропадает образность выражения *густняк бороды*, если не знать, что *густняк* — у Даля — 'чащоба'.

Диалектное слово в интерпретации А. Белого внутренне неустойчиво. В разных контекстах одно и то же слово употребляется то в прямом значении, то как семантический окказионализм. Слово *колоколить*, которое в словаре имеет значение 'звонить, трезвонить, скоро, звонко, безумолку говорить тараторить', в одном месте романа «Москва» употребляется в своем прямом значении: *шло языков развязанье; и затарахтели; пошли колоколить*, в другом контексте приобретает иное применение: *подколоколил книжонки* — 'украл'.

Слово в разных контекстах используется как семантический окказионализм, но с разным смысловым наполнением. Вот два контекста, в которых одно и то же слово имеет разное смысловое наполнение: *смычки тарантят; но в кресте теневом — вдруг очком, встарантил ...Никанор: точно сыщик (тарантить — 'говорить бойко, резко, скоро, торопливо, тараторить')*. В некоторых случаях контекст не дает возможности более или менее точно определить смысловое наполнение диалектного слова. Так, слово *тилиснуть* в следующем отрывке: *Приступил к компании: — «Ну, тилиснем!» Хитронырый пролаз — тилиснул, сделав вид, что фривольничает перед маленьким сдохликом (видно — со средствами)* — явно не имеет своего словарного значения 'хлестнуть, ударить, изорвать; украсть; трепать за виски', но каково его наполнение, остается неясно. Любопытно в этом отрывке и происхождение сочетания *хитронырый пролаз*: словарь содержит

существительное *хитроныра*, которое объясняется через слово 'пролаз'.

Диалектное слово ведет себя так, как и общеупотребительные слова в художественном тексте, в частности, в тех же произведениях Белого, где неоднократно переосмысливаются общеупотребительные слова: *Застолбели вдали горизонты крепчающим дымом; везде неподвижно висят столбяки* (КК), *по небу неслися ветрянки, разорванные облак* (М I); *образуются всюду снегурочки в мерзлых канавках, на кустиках, около тумбочек; серые мерзлоты улицы станут в снегурочках* (М I); *рванул холодильник, чтоб все ожелезить* (М I); ('ветер'); *бесчеловечные переулки открылись; они человечили к вечеру; днем пустовали* (М I).

Если общеупотребительные слова достаточно трудно отрываются от своего значения, то с диалектизмами и просторечием это происходит значительно легче, вплоть до того, что слово приобретает антонимичное значение: *наварганив добра, отварганивши доброе дело*.

К необычному материалу применены общие принципы поэтического словоупотребления. Но специфичность материала накладывает свой отпечаток и на художественный эффект соответствующих слов. Поскольку большинство слов не обладает для воспринимающего сознания четким значением, которое обнаруживается только в единичном контексте, да и то во многих случаях остается очень расплывчатым, смысловые преобразования, если они и происходят, не ощущаются непосредственно, а устанавливаются только при обращении к словарю. Чем менее обычно и известно слово, тем более значимы его звуковой состав и общий эффект его остринности.

Слово, таким образом, целиком зависит от контекста, меняя свое значение вместе с ним, а словотворчество Белого происходит в рамках уже существующих слов. Возникновение семантических окказионализмов — лишь одно из проявлений работы Белого над словарем Даля. В своем собственном словотворчестве Белый также опирается на опыт Даля. Без обращения к словарю Даля нельзя ни понять механизм словотворчества Белого, ни правильно определить самый состав его окказионализмов.

Словотворчество для А. Белого — это миротворчество. Создавая странный, гротескный мир последних романов, он создает и странные гротескные слова, отвечающие природе

этого мира. В связи с этим диалектные слова и новообразования оказываются в одном ряду.

А. Белый видит в словаре способы обращения со словом: «материалы «далевского» словаря — открывают даль будущего: в корень слова вцеплять и любую приставку, и любую по вкусу концовку»⁹.

В диалектном слове Белого привлекает частичное несовпадение его оболочки со звуковой оболочкой соответствующего литературного слова: *елушником пахло, точно мышерка, черная дамочка, смык смышилеватых бровей, близнята* и т. п. Такого же типа почерпнутые из словаря слова, не прикрепленные к определенному диалекту, но и не литературные: *белясый, павлятник, взлил, вздурел, табаковка, подтепель, растараца, перегром* и т. п. Та актуализация слова, которую дает перераспределение разных словообразовательных элементов, в словаре уже осуществлена.

По этому же пути идет Белый и в собственном словообразовании. Он не только создает новые слова для обозначения новых понятий, но и придает обычным, общеизвестным словам не совсем обычный вид, следуя не только Даю, но и Гоголю, у которого находит слова с измененными суффиксами (*крутъ, гульня, колдовка, продавица, красуля, мигач* и т. п.) и с необычными приставками: *заплевки, забранки, захрап, запев, зашептыванье, покурки* (вм. *окурки*), *побранки, покрик, разнужда* и т. п.¹⁰.

Необычность обычного слова достигается его морфологическим переоформлением. Большое количество окказиональных слов образовано при помощи обнажения корня. Увлечение безаффиксными существительными начинается в «Крещеном китайце», где Белый указывает, что слово *урч* заимствовано им у Ремизова, и ставит подобные слова в кавычки (*ик, чавчи*). Вслед за этим появляется огромное количество безаффиксных образований: *брос, бод, дав, дерг, дых, дох, пих, порх, мельк, шамк, шурш, рыв, шлен, бряки и цоки, хавки и гавки, фырчи, мориць, молчъ* и т. д., часть которых имеет соответствия в словаре Даля (*сверб, карк, шарк*). К ним прымкают приставочные образования: *перемельк, принюх, припах, раскур, расчмок, выблеск, заблесты, изблеск, издрог, вырыв, вспых, пересип, сморщ, прогиб, разггиб, подшарк* и т. п. Белый меняет приставки и суффиксы:

⁹ Белый А. Указ соч.; с. 12.

¹⁰ Там же. с. 214.

блоший, коший, бугринистый, бушуять, долбежить, домченок, голубенеть, оранец, густопселая, капризулить, домножить, лысищи; добавляет приставки и суффиксы: *ропотень капелек*, *гоготень*, *дроботунить*, *воркотунить*, *расклокастый*, *мордашкой раскругленькой* и т. п.

Один из излюбленных способов острания слов — нагнетение приставок (*подвыюркнул*, *перепривыюркнул*, *перевзвизг*, *приподпрыгнул*, *взоржав* и т. п.), вплоть до того, что по-разному скомбинированные приставки приобретают самостоятельность:

... *приподпрыгнул*, *перепроподпрыгнул*, *стуча* —
— *при-под-прыг-пере-под-при-под-пры-пере-при-пере*, *при-
пере*

— *пре*
— *каб-*
— *луками!*

И — спрыгнул!» (М II).

Между словами, созданными А. Белым, и словами, содержащимися в словаре Даля и частично созданными самим Далем, трудно провести границы, если постоянно не обращаться к материалам словаря. Поскольку определенная модель, существующая в литературном языке, в словаре Даля может быть представлена более широко, что и привлекает Белого, одни и те же слова можно рассматривать и как созданные по определенной модели литературного языка, и как взятые из словаря. Например, слова *серявый*, *белявый*, *синявый*, *пестрявый*, *бледнявый*, *рыжавый*, *желтявый* можно рассмотреть и как созданные по аналогии с *чернявый*, и как частично заимствованные у Даля (*синявый*, *белявый*, *рыжавый*) и образованные по соответствующей модели. Каков бы ни был реальный источник этих слов, с точки зрения литературного языка они воспринимаются как новообразования, в произведении же они служат экспрессивным средством.

Слова, заимствованные у Даля, и новообразования складываются в своеобразные словообразовательные гнезда, в основе которых лежит одно или несколько далевских гнезд, взятых в основных их фрагментах и дополненных новообразованиями. Белый не только опирается на гнезда, содержащиеся в словаре, частично воспроизводя их, но и сам образует новые слова гнездами. Такие слова, как *серебро*, *золото*, *блеск*, *лед*, *звезды*, цветовые эпитеты *черный*, *желтый*, *синий* становятся центрами, вокруг которых группируются

несколько окказиональных слов. Гнезда, образованные Белым, зависят от гнезд далевского словаря в разной степени. Так, слова, образованные от слова блеск и его производных, в основной своей части созданы самим Белым; блеснь, блестинки снежинок, блестняк (за окошком ветвистый блестняк отрясал золотинки), блисталица (вечером там — золотарни, блисталица), блещак, блещенский снег, выблеск, соблеснулись, переблескивал, облещенная, разблещенная и т. п. Словарем это гнездо объединяют слова блестение и блесна, последнее слово переосмысливается в соответствии со своей внутренней формой: наст становился сплошною блесной; огнецовой блесной стали тяжести красочных линий. Гнездо, организованное словом золото, зависит от соответствующего гнезда в словаре Даля в значительно большей степени.

Установка на расширение ряда экспрессивных средств делает их источник безразличным, так что в одном ряду оказываются и диалектизмы и новообразования. Такие звукоиздражания, как бебанит бабоном, бабунит пумпяном (КК), получают объяснение при сравнении со словами гнезда: бубанить, бубенить, бутегенить.

Одно из частных последствий возникновения таких гнезд — появление рядов однокоренных слов, тождественных или близких по значению. Ряд синь, синева, синета, синедь представляет собой сокращенный ряд слов, содержащийся в словаре: у Даля в этот ряд входит еще слово синесть. Ряд жужж, жужжанье, жужжанье, жужель, жужелженъ представляет собой контаминацию двух гнезд словаря, которая сопровождается появлением семантического окказионализма: жужель в словаре равнозначно слову жужелица, у Белого же оно включается в сочетание жужель голосов. Ряд грохотание, грохот, грох, перегрохот, перегрох, подгрохот также обращен к разным гнездам словаря.

Иногда слова, близкие по значению или дублирующие друг друга, объединяются (мякиши-алякиши; гололедица-ледница; глуботина, глубина, бездна, пропасть; в окошко поблескивать стала звездиночка: зирочка) или встречаются в однотипных контекстах: синева отдаленных квадратов — совсем голубая; о, — синета отдаленных домов — голубая (М).

Исходное и новое — вне зависимости от источника — соотнесены в тексте, их связи обнажены: мерзавец, мерзавица! мир протух в мерзи (М II); зеленоволосая русалка... вот она, подрусилиши взглядом, прошла (М II); красные домики издали точно в сияющем паре... а рядом — доминице: семь

этажей вздыбил улицы угол... недавно ведь еще букетец цветистых домченков топорщился (М); там за рекой приседает Москва, плотенея домами; там домики обставляют дома; вылезают домовины, каменно виснут домищи (КК). Гораздо реже в тексте присутствуют и исходное слово, и исходная модель: Дверь коридора стояла открытой: и блеклые черные тоны оттуда посыпались, как переблеклые, черные листья осин: перечернь прозияла, как будто из пола везде проросли великаны немые, сливаясь в сплошной черникан (М II).

Одно и то же слово может соотноситься с разными производными в небольших контекстах, которые перекликаются на расстоянии. Таково, например, слово звезда, одно из сквозных слов-образов в романе «Маски». Вот несколько отрезков текста, в которых оно соотнесено с различными производными: «*О, переполненное, точно вогнутый невод, звездой, — несвободное, обремененное небо! О, — то же звездение: праздное!.. Звезды, — зернистые искры, метаемые, как икра, как-то зря, — этой рыбой — вселенной! Глаза прозвездило до... мозга*»; «*Звездоглядное небо! Как голос из воздуха: крупные звезды в крупе бриллиантовой пырскают в черных пустотах, как в бархатах млечные блесни неясны; нет места, где выблеск не вспыхивал бы; и висит между ними — звездило сапфирное*»; «*И волосы отсверком розовым вспыхнули; в отсверке — красное пламя; и луч, звездохват, облеснул переулочек Африков; и на заре уже слабая звездочка, зирочка: искрилась тихо*» и т. д. Часть производных слов, содержащихся в этих и других отрывках, соотнесенных с ними, содержится и в словаре, хотя в большинстве случаев имеет в нем иные значения: звездохват — 'человек самонадеянный, заносчивого ума, всезнайка; звездогляд — 'астроном'; звездила' — 'драчун'; звездянка — 'морская звезда'. Исключение представляет слово звездистый, значение которого в словаре и в романе совпадает: *Какая звездистая ночь!*

Перенесение в текст целых гнезд словаря с соответствующей их модификацией отвечает общим принципам организации текста у Белого, а именно его лейтмотивности. Гнездовой принцип довольно часто ложится в основу организации отдельных фрагментов текста — от абзаца до главы и их серии.

Развитие возможностей словообразовательного гнезда или нескольких гнезд, объединенных по звуковому принципу, способствует расширению возможностей лейтмотивного

построения текста, создавая большую свободу варьирования соотнесенных слов. Через последнюю главу романа «Крещеный китаец», многие главы которого имеют цветовые лейтмотивы, проходит лейтмотив «золотой»: *тучи златые, закат-золотильня, закат-золотарня; Маруся-заря, златобровая, ходит по улицам мира; золотолею дождики сеет она*, «*золотожарый огромнеет Спас*», — «*пойдет златоискр, златосверк от меня*», «*золотохолое облако*», *мокренъкий кустик — золотоносец какой-то; ходил в златоемы зари, старый закат-златоуст; уже золотянкою, нитью златою, затягала баба-заря сарафан во все небо; зори, достойные бабы, надев сарафаны свои, златари, приготовят на небо мой путь*. Часть этих слов содержится в словаре Даля и имеет терминологический характер: *золотильня* — 'заведение, мастерская, где золотят'; *золотарня* — 'златильня'; *златоискр* — 'камень авантурин'; *золотоносец* — 'кавалер, пожалованный золотой цепью'; *золотарь* — 'позолотчик по дереву'.

Последние главы «Москвы» организованы лейтмотивами, которые представляют серию образований от слова *черный* и от перекликающихся в звуковом отношении слов *желтый, желчь, жечь, жестокий*.

Словообразование Белого можно рассматривать как динамический процесс, развитие которого определяется теми же закономерностями, что и развитие других приемов: увлечение определенными моделями и стремление распространить их на возможно более широкий круг слов сочетается в нем с использованием множества моделей для передачи одного и того же значения. Эти две тенденции определяют и судьбу отдельных моделей в разных произведениях. Вслед за некоторыми пробами в «Крещеном китайце» появляется ряд существительных с нулевым суффиксом, которые распространяются по разножанровым произведениям; в «Крещеном китайце» — взрыв окказиональных наречий *на=о* (по подсчетам О. П. Ермаковой — около 200¹¹), которые до тех пор не были столь активны, в «Москве» и в «Масках» — обширные ряды сложных прилагательных для обозначения оттенков цвета.

Словообразовательная модель, широко распространенная в одних произведениях, в других вытесняется иными моделями, передающими то же значение. Например, обычные

¹¹ Ермакова О. П. О связи словообразовательных и синтаксических явлений. — В кн.: Вопросы синтаксиса русского языка. Калуга, 1969.

для символистов образования на-ость постепенно накапливаются и в «Офейре» дают вспышку: *весь Монреаль — многоярусность здания, расслоившего этажи по уступам веранд; несеченность уступов сменяет исченность их; пролетка завязла колесами в снежности тонких песочков; сквозь них просквозили витиеватости толстых лиан и спиральки уютнейших тропочек; две хорошенкие комнатки, выходящие огромными окнами в лапчатость листьев и в стволчатость зеленокудрой дорожки и т. д.*

Затем они вытесняются множеством моделей с соответствующим значением субстанции вместо признака: *Огромная поросль лесов, шелестя сухолиствем, открыла красневшую недоросль мхов и суровых безлистий; скоро уже побежало нелепие крыши в велелепие гор (ВР); в них уставился мутями невыразительных глаз; из двери просунулась в спину ему голова Анны Павловны, блеклой сваляшиной желтозеленых волос; распылавшись щеками, ушами, он ухватился за выжелчень уса; дама... с заплесневым лицом, но с подкрасом губы; перетрапетом звякали искрени люстры; мотаясь пенснэйною лентой и веей волос; он вышел в переднюю с гладкой расчесанной кудреей волос; она распустила перед зеркалом густоросль мягких каштановых прядей; поднял желто-алое глазье в густняк бакенбарды; всем улыбавшийся блеснями белых зубов (М I).*

Подобные же принципы характеризуют и всю систему словоупотребления Белого, который идет к одной и той же цели разными путями, расширяя не только возможности одного определенного способа для выражения одних и тех же или близких смысловых отношений, но и умножая круг этих способов.

Ряд сложных прилагательных, обозначающих оттенки цвета, развивается параллельно с рядом относительных прилагательных типа *кофейный, песочный, сочетаниями типа бобрового цвета глаза, платье цвета тайфуна с волной* (М I). Иногда цветовые прилагательные разных типов концентрируются в пределах небольших отрезков текста: *улица складывалась столкновеньем домов, флигелей, мезонинов, заборов — кирпичных, коричневых, темно-песочных, зеленых, кисельных, оливковых, белых, фисташковых, кремовых (М I); сыпь известки, разложенной аспидносереньким, серосиреневым, серопесочным, желточным и розоватым колером (М I).*

Ряд просторечных и диалектных глаголов речи (и шире — звучания): *бекать, блекотать, брекотать, бунить, буря-*

вечить, барабошить, гамить, гирготать, екотать, гагакать, дроботать, тарарапыкать, тарантить и т. п., который дополняется переосмыслением других глаголов, существует одновременно с звукоподражательными глаголами, созданными самим Белым, и многочисленными метафорическими сочетаниями, созданными по одной модели: *топал словами* *свой громкий стишок*; *выстрелив возгласом*; *едва я пойду, как за мною притопнет словами споткнувшийся папа*; *пронзительный крик, поднимаемый папой, противником самостоятельной жизни окраин, ее удручет; а папа пойдет на окраины словом; споткнется словами; папа же свалится словом; он кидается взапуски словом, которое только что было подчеркнуто; ходит словами; дернется словом; бегает он языком в отдаленные страны — потом на словах, — да в прыжку; вломится тучный, всегда запыхавшийся словом, Сергей Алексеевич Усов; когда закатается папа словами (так рой деревянных фигурок закатается в шахматном ящике); мама опять растворяется словом, как рядом картонок своих, из которых она вынимает пернатые шляпы (КК).* По этой же модели строится и длинный ряд сочетаний со словами *глаза, взгляд*.

При общей установке на экспрессивность слова обращение к необычному словесному материалу имеет в разных романах различные мотивировки. Персонажи «Котика Летаева», поднятые над бытом и окруженные мифологическими ассоциациями, в «Крещеном китайце», напротив, погружены в быт, заземлены, огрублены. Изощренно литературное повествование «Котика Летаева» сменяется не менее изощренным повествованием «Крещеного китайца», основанным на других средствах, одним из которых становятся диалектизмы. Концентрация диалектизмов в романе неравномерна: они сгущаются при изображении бабушки и дяди повествователя. С ориентацией на диалект строится и их прямая речь и авторское повествование о них, хотя в «Крещеном китайце» использование некоторых слов связывается с речевым обиходом персонажа и оговаривается как неавторское: *дядя Вася безженый, безбабый, и как говорят — не «мозгай»; покажет «лалаки» свои (это, знаю я, десны: так бабушка их называет)*; эти выделенные, остраненные чужие слова существуют на фоне большого количества диалектных и просторечных слов, которые используются уже не как отражения речи персонажа, но как авторское слово о нем, как экспрессивное средство: *стала бубанить, бубенить*;

и бутетень поднимался по этому поводу; он громко баюрит, зюзюкнув рябиновки; глупый бабич, костыляет по полу, бунчит себе под нос, кабачит: — «Эй вы, водохряки!»; здесь же: блекавый, мозголом, мозготряс, мозгопятый, мигач, молован, милошиться, клекнет и керкает кашлем, бунчит, бунчит себе под нос.

Явная искусственность подбора слов, актуализирующая их звучание, в результате чего в одном небольшом контексте сочетаются слова разных диалектов, заставляет усомниться и в правдоподобии чужой речи, тем более что Белый и не скрывает ее источников: — «*Он — бузыга!*» — А что есть «бузыга»? У Даля — найдешь, а в головке — съиши-ка!

Сам выбор слов связан с идеями звукового символизма, который вызвал появление звуковых лейтмотивов, сопровождающих разных персонажей, выражавших их «идею» и охватывающих не только непосредственное изображение персонажей, но и описания обстановки, их окружающей, так что определенные отрезки текста строятся с ориентацией на определенные звуки или их набор:

Остынет в мерзлятине все: морозновато! Бабуся сидит тут неделю; воскресником ходит к обедне в таком старомодном «мантоне» и в бористой шляпе, с «мармотками» (шляпы такие не носят); ворочается: остывает в мерзлятине, заболевая мозжухой в костях и встречаясь всемесячно с Марьей Иродовной, с лихорадкою.

На окошке стоит мелколапчатый цветик, плеснея давно; за окошком — мокрель; волноплясы снежинок — мелькают, мельтешут.

В одном ряду оказываются слова, различные по происхождению и стилистической окраске, а звуковой принцип объединения слов мотивирует появление некоторых конкретных речевых средств, в частности диалектизмов (например, *мизикать*, *мелюзить* на фоне многочисленных слов на *м*).

«Крещеный китаец» характеризуется сложной игрой стилистически противопоставленных элементов. Мать рассказчика изображается в двух противоположных стилистических ключах: ее, с одной стороны, окружают многочисленные варваризмы (*трэн*, *турнюр*, *гран-рон*, *опопонакс Пино* и т. п.), с другой стороны, диалектизмы (*протурнюрит обтянутой юбкой с канатовой подкладкою — варнака, вертлява!*) Так же раздвоена и ее речь, которая передается очень своеобразно — и непосредственно, и отраженно. Часть реплик мамы вложена в уста ее тени, тети Доти, которая говорит «слова-

ми, принадлежащими маме и обращенными к маме»: А у тебя платье прюн, платье крэм...; *Масака не забыла я...* Их комментирует мама: Ты долдонишь, долдонишь мое, то же самое, как дроботунья!; Ай, ай! Что вракаешь, врачка! Приходишь, вилякаешь, точно лиса; а потом нагадючиши! (ср.: звонится словами, как связкой ключей, все о рюшах, горжетках, жабо).

Раздвоенность персонажа, которая до сих пор выражалась в прямых характеристиках и в авторском изображении многочисленными средствами, лежащими в пределах литературного языка, в «Крещеном китайце» выражается и через слово самого персонажа. Кроме того, разным сущностям персонажа соответствуют и разные звуковые и цветовые лейтмотивы.

В «Москве» и «Масках» Белый уже не указывает на источник слова и не мотивирует его чужим словоупотреблением, хотя бы мнимым. Диалектизмы в «Крещеном китайце», сконцентрированные в главе «Бабушка, тетечка, дядечка», в последних романах Белого распространяются по тексту более свободно, не связываясь столь тесно с потребностями звуковой его организации.

Сатирическая задача «Москвы» и «Масок», общим принципом изображения в которых становится гротеск, определяет и конкретные источники экспрессивности и общее понимание слова, которое, последовательно остранившись, превращается в маску, гримасу, выражая идею маски самим своим оформлением.

Как слова-маски осмысливаются в «Москве» диалектизмы и новообразования Белого. Морфологическое переоформление общеупотребительных слов, делающее самое обычное слово неожиданным и гротескным, использовано в «Москве» шире, чем где бы то ни было: *Перебитый человечек, с миганцем, весь ползкий, тончивый, еще молодой, а уже гологоловый, моклявое что-то в нем было; но взгляд — с покусительством* (М 1).

Слова-маски становятся одним из основных средств изображения персонажей, их быта, Москвы переулков, опутанных сплетнями. Некоторые персонажи изображаются только в этом ключе. Средства изображения других персонажей меняются на протяжении романа — фрагменты, насыщенные новообразованиями, чередуются с фрагментами, свободными от них. Это в первую очередь относится к профессору

Коробкину, который изображается и как комическая, и как трагическая фигура. Описание внешности Коробкина в начале романа — *В своем темносером халате зашелепал к настенному зеркалу: в зеркале же встретил табачного цвета раскосые глазки, скучело оттуда лицо; распепелились щеки; тяплялся нос; а макушечный клок ахинеи волос стоял дыбом* — контрастирует с его изображением в одной из последних глав, где появляются замаскированные цитаты из Евангелия, предваряющие появление других евангельских мотивов и сцену между Коробкиным и Мандро, освещенную мотивом распятия: *с кряхтом облекся в крылатку; перчатки натягивал; стал чернолапым; взял — зонт, котелок свой проломленный; через плечо, точно крест, он надел саквойж и большой, и пустой (в нем катался один карандашик); он стал на террасе; стащив с головы котелок, посмотрел на него; вновь надел, — горько тронулся: в сопровождении Наденьки. (Шел уничтожить бумаги, смертельно скорбя; у калитки почувствовал, что — на черте роковой он колеблется духом; жены при нем не было; не было сына).*

Колебания от отрезков текста, насыщенных необычным словесным материалом, к отрезкам, свободным от него, характеризуют и весь роман в целом. Авторский рассказ о персонажах (изложение их предыстории, прямые характеристики) тяготеет к простоте, авторское изображение — к усложненности, вплоть до остранения каждого слова в развернутых фрагментах текста.

Тенденция к актуализации каждого слова, которая достигается разными способами — необычностью самого слова, словообразовательной его ломкой, смысловой его ломкой необычной сочетаемостью, обнажением звукового состава слова, — характеризует и «Маски».

Актуализация каждого слова как самостоятельной единицы текста ослабляет дальние связи слова, мешает им проявиться. Диапазон действия слова сужается, поскольку каждое слово само по себе уже некоторое самостоятельное произведение. Прозаическое пространство, в принципе широкое и свободное, загромождается и становится теснее, чем пространство стиха. Уменьшение роли нейтральных элементов, на фоне которых мог бы проявиться эффект актуализированного слова, ведет к нейтрализации актуализированных элементов, которые начинают восприниматься не как экспрессивные средства, а как выражение индивидуальной нормы произведения. В этом отношении романы Белого резко отличны

от его мемуаров, в которых сходные приемы применены на более нейтральном фоне.

То, что писал Белый об эпитетах Гоголя, в гораздо большей степени приложимо к поздним романам самого Белого: «Эпитеты Гоголя — смесь роскошества с чувствительными недостатками; но они не изъян, а перепроизводство богатств; в тропических порослях травы не дают расти травам; и оттого — сушь, как следствие густоты; заросли эти взывают к очистке; к ним нечего прибавить: от них надо убавить...»¹².

При всей необычности языкового материала поздних романов Белого, они не утрачивают связи с его более ранними произведениями. Опираясь на новый материал и используя новые способы его организации, писатель не оставляет и своих старых приемов и средств. Это выражается в пристрастии к определенным типам необычных сочетаний и синтаксических построений, в специфическом использовании некоторых падежных форм, в устойчивых способах словообразования (новообразования так же, как и общеупорядочительные слова, превращаются в метафоры и символы), но что самое существенное — новый словесный материал подчиняется устойчивому принципу организации текста, принципу лейтмотивности, единому на протяжении всего творчества Белого.

Е. В. КЛЮЕВ
(Калининский госуниверситет)

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СКАЗ КАК ОБЪЕКТ КОМПЛЕКСНОГО ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ

История исследований литературного сказа убеждает, что этот феномен изучался в аспекте литературоведения или в плане некоторых проблем науки о языке. Так, отмечалась ориентация литературного сказа на устность, на воспроизведение манеры чужого (resp. неавторского) говорения, на создание иллюзии синхронного восприятия звучащей речи, на координацию в сказовой композиции образа автора и образа рассказчика и т. д.¹ Сказ характеризовался также в плане отбора лексических — главным образом, некодифици-

¹² Белый А. Указ соч., с. 211.

¹ Библиографию см: Клюев Е. В. Опыт дефиниции стилеобразующих категорий литературного сказа. — Филол. науки, 1979, № 4.

рованных — средств создания художественного образа (Р. Р. Гельгардт). Некоторыми литературоведами были сделаны попытки выстроить линию эволюции литературного сказа как «жанра» беллетристики².

Нельзя отрицать допустимость изучения отдельных компонентов словесно-художественного объекта, хотя оно будет односторонним и неизбежно условным, поскольку из целостного литературного текста «извлекаются» такие его единицы, которые реально пребывают в отношениях взаимосвязи и взаимообусловленности, т. е. в отношениях системной организации. При таком подходе обычно говорят о сохранении «перспективы целого». Но она остается в сознании литературоведа или лингвиста, а не эксплицируется в тексте произведения научной прозы.

Не нужно доказывать, что метод изучения должен быть адекватен исследуемому объекту. Поэтому нельзя считать оправданным «изолированное» рассмотрение отдельных элементов плана выражения или плана содержания литературно-художественного текста как средство познания целого произведения словесного искусства. В сущности, именно такой синтез литературоведческих и лингвистических проблем, объединенных программой анализа художественного текста, имел в виду акад. В. В. Виноградов, выдвигая идею науки о языке (стиле) художественной литературы³. Насколько нам известно, литературный сказ не изучался в таком аспекте, хотя ряд ценных работ, посвященных этому виду художественной литературы (В. В. Виноградов, Б. М. Томашевский, Ю. Н. Тынянов, Б. М. Эйхенбаум, В. В. Гофман, Р. Р. Гельгардт, Н. А. Кожевникова и др.), уже подготовил почву для его широкого филологического исследования.

В настоящее время задача филолога состоит прежде всего в том, чтобы не только уточнить онтологические характеристики литературного сказа путем анализа соотношений в его структуре разных форм речеведения и различных образов-компонентов (образ автора, образ рассказчика, образ повествователя), но и установить его место в жанрово-видовой системе литературы, а также в составе произведений словесного творчества вообще. Актуальность этой задачи уяснима из чрезвычайно большой сложности лите-

² Ср.: Мушенко Е. Г., Скobelев В. П., Крайчик Л. Е. Поэтика сказа. Воронеж, 1978.

³ См.: Виноградов В. В. О языке художественной литературы. М., 1959, с. 3—4.

ратурных сказов, объединяющих в себе элементы стилистики и поэтики художественной литературы, устного народно-поэтического творчества, публицистики, а также средства выражения, почерпнутые из литературного языка, интерлокального, нелитературного просторечия, из территориальных и социальных диалектов, включая диалекты профессиональные, сословные, арго. Формы устного говорения, транспонированные в письменно-литературную речь, частично сохраняются (ср., например, присоединительные конструкции, эллиптические обороты, обращения к «слушателям» и т. д.), причем в сказовый монолог включаются и формы письменно-литературного языка, что зависит от социального статуса повествователя (например, элементы канцелярской речи, присущие чиновнику Ивану Вадимовичу в цикле сказов М. Кольцова «Иван Вадимович — человек на уровне»).

Нами предложена следующая дефиниция сказа, принятая, в частности, на основании учета тех основных его признаков, которые были отмечены еще в первой половине нашего столетия В. В. Виноградовым, Б. М. Эйхенбаумом, Ю. Н. Тыняновым, М. М. Бахтиным и др.: «...сказ есть оформленное в виде закрытой композиции и построенное по принципу отчуждения произведение повествовательной прозы, представляющее собой художественную имитацию процесса устного монологического говорения, нацеленную на создание иллюзии синхронного его восприятия»⁴.

Хотя в данной формулировке, по-видимому, учтены наиболее существенные, релевантные признаки литературного сказа, она остается традиционной и недостаточно полной, так как в ней нет определения места сказа в ряду других видов художественной литературы и других типов словесного творчества. Между тем задача эта, несмотря на ее важность, все еще остается нерешенной. Актуальность жанрово-видовой характеристики сказа уясняется даже из пестроты и неопределенности терминологических обозначений некоторыми выдающимися филологами произведений, причастных к сказовой форме речеведения. Так, еще на начальном этапе изучения сказа акад. В. В. Виноградов отмечал, что вопрос о сказе сосредоточен «вокруг проблемы о функциях рассказчика в композиции романа и новеллы»⁵. Часто акад. В. В. Виноградов употреблял и такое терминологическое

⁴ Клюев Е. В. Указ. соч., с. 41.

⁵ Виноградов В. В. Проблема сказа в стилистике. — В кн.: Поэтика. Л., 1926, т. 1, с. 24.

обозначение, как «сказовая новелла»⁶. Ю. Н. Тынянов характеризовал «комический сказ» как «рассказ», а «лирический сказ» — как «совершенно лирическую поэму»⁷. Б. М. Эйхенбаум, обращая внимание преимущественно на приемы ведения сказового повествования, говорил о сказе по отношению к «новелле»⁸ и «повести». «Жанровые» признаки сказа рассматривают в своих статьях Р. Р. Гельгардт⁹ и Н. А. Кожевникова¹⁰. Интересна точка зрения И. А. Смирина, утверждающего, что «в академической монографии «Русский советский рассказ».. в обзоре жанровых разновидностей рассказа» одно из свободных мест оставлено для сказа, интерпретируемого И. А. Смириным как «тип рассказа»¹¹. Наконец, в новейшей работе о литературном сказе делается попытка разграничения «сказовой формы повествования», «сказовой повести» и «сказовой новеллы», составляющих «жанр литературного сказа»¹².

Отметим, однако, что в перечисленных работах термин «жанр» не раскрывается, но используется аксиоматически, хотя само понимание жанра до сих пор остается дискуссионным. Например, М. М. Бахтин говорил о жанре «романа», рассматривая жанр как группу произведений в пределах рода¹³. Такой же точки зрения придерживается В. В. Кожинов в академическом издании «Теории литературы» и в «Краткой литературной энциклопедии», а также Г. Н. Поспелов¹⁴. Другие ученые понимают под жанром разновидность в пределах вида¹⁵. А Л. И. Тимофеев предпочитает употреблять только «два термина: жанр (в смысле род) и жанровая форма (в смысле вид)»¹⁶. В зарубежной лите-

⁶ См.: Виноградов В. В. О языке художественной литературы.. с. 122.

⁷ Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1978, с. 161.

⁸ Эйхенбаум Б. М. Сквозь литературу. Л., 1924, с. 171.

⁹ Гельгардт Р. Р. Стиль сказов Бажова. Пермь, 1958.

¹⁰ Кожевникова Н. А. О типах повествования в советской прозе. — В кн.: Вопросы языка современной русской литературы. М., 1971.

¹¹ Смирин И. А. К проблеме сказа и его типологии в ранней советской прозе. — В кн.: Проблемы типологии литературного процесса. Пермь, 1978, с. 78.

¹² Мушенко Е. Г. и др. Указ. соч., с. 35, 62, 90.

¹³ Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975, с. 447.

¹⁴ Поспелов Г. Н. Проблемы исторического развития литературы. М., 1972, с. 152.

¹⁵ Ср.: Калачева С., Рошин П. Жанр. — В кн.: Словарь литературоведческих терминов. М., 1974, с. 82.

¹⁶ Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. М., 1971. с. 35.

туроведческой традиции жанр тоже интерпретируется по-разному: то как род, тип или класс литературно-художественных произведений¹⁷, то как вид в пределах рода¹⁸, то смешанно: «Жанр. Французский термин для рода, литературного типа или класса. Основными классическими жанрами были: эпос, трагедия, лирика, комедия и сатира, к которым сейчас могли бы быть присоединены новелла и короткий рассказ» (?!)¹⁹. А вот предел возможного расширения термина у Кеннета Барка: «любая форма, которая художественно возбуждает и удовлетворяет аппетиты», есть жанр²⁰. Характеризуя «жанр» романа, М. М. Бахтин, образно определявший «жанры» как «некие твердые формы для отливки художественного опыта», утверждал, что «исследователям не удается указать ни одного определенного и твердого признака романа без такой оговорки, которая признак этот, как жанровый, не аннулировала бы полностью»²¹. Известно и пессимистическое признание К. Фосслера о своем бессилии ответить на вопрос, что такое роман²². Однако такие утверждения, вероятно, не следует считать предостережениями в адрес тех, кто стремится дать непротиворечивую дефиницию жанра. Потребность в подобных дефинициях тем большая, чем более многообразной оказывается художественная практика.

Из принятого нами определения жанра как «любой функционально смещенной относительно вида разновидности»²³ следует, что сказ нельзя считать литературным жанром, поскольку не существует вида, относительно которого «смешен» сказ, обладающий вполне самостоятельными признаками формы и содержания. Если рассматривать сказ как один из жанров новеллы или повести²⁴, то пришлось бы признать, что сказ должен сохранять основные приметы называемых видов эпоса. Собственно же, сказовые особенности интересующей нас видовой формы отступят на второй план. «Сказовость» становится фактически только «окраской»,

¹⁷ Herder-Lexikon. Literatur: Sachwörterbuch. Freiburg im Br., 1974, S. 73—74. Dictionary of World Literary Terms. Forms. Technique. Criticism. Boston, 1970, p. 135.

¹⁸ Lazarus A., MacLeish A., Wendell Smith H. Modern English: A Glossary of Literature and Language. New-York, 1971, p. 135.

¹⁹ Cuddon J. A. A Dictionary of Literary Terms. London, 1977, p. 285.

²⁰ Lazarus A. a. o. Op. cit., p. 135.

²¹ Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики.., с. 452.

²² Vossler K. Dichtungsformen der Romanen. Stuttgart, 1951, S. 173.

²³ Клюев Е. В. Указ. соч., с. 44.

²⁴ Мущенко Е. Г. и др. Указ. соч., с. 62, 90.

которой может и не быть, ибо наличие ее, равно как и отсутствие, ничего не меняет в сущностных, видовых характеристиках повести, новеллы и т. д.

О том, что четких критериев для разграничения видов («жанров») эпоса до настоящего времени не существует, пишут часто²⁵. Наиболее употребительно деление эпического рода на виды по признаку объема, которое срабатывает лишь на экстремальных величинах и позволяет отличить роман, например, от рассказа. Роман и повесть разграничить по признаку объема уже труднее. Еще труднее дифференцировать повесть и рассказ. Когда же встает вопрос о различительных признаках так называемых «малых эпических форм», филологам приходится признать, что никаких классификаций здесь не существует. Положение, как нам думается, облегчает включение литературного сказа в систему видов эпоса, поскольку тогда возникает возможность представить ее системой двуполюсной: на одном полюсе будет находиться очерк, на другом — сказ. В качестве классификационного критерия берется, таким образом, позиция носителя повествования.

Действительно, в очерке автор выступает от своего имени. События, о которых он повествует, представляются ему значительными и важными — и он оценивает их «от себя», со своих позиций, тяготеющих, однако, к позиции большинства. Чем событийнее очерк, чем «коллективнее» предложенная в нем точка зрения, тем он «классичнее». Сказ же демонстрирует принципиально иную позицию автора: он устраивается, предоставляя право ведения повествования рассказчику (или маскируясь под него). Событийная основа сказа поэтому подчинена установке на самовыявление «активного» рассказчика. События, о которых повествуется, могут быть поданы «традиционно» (как, например, в фольклорном сказе). Они редко значительны «сами по себе», но чаще предстают как выражение определенного «угла зрения», как выражение некоторой характерности. Чем характернее, выразительнее рассказчик, чем индивидуальнее он, тем «классичнее», «чище» сказ. Итак, если применительно к очерку мы говорим о максимальном слиянии автора и по-

²⁵ «Проблема литературных жанров очень слабо разработана в современном литературоведении. Вопрос о том, чем же все они отличаются друг от друга, по каким общим признакам их следует различать, классифицировать, представляется чем-то очень неясным и с трудом поддающимся разрешению». Постполов Г. Н. Указ. соч., с. 152.

вествователя (автор в функции повествователя), то для сказа актуально как раз обратное: максимально возможное расподобление между ними и совпадение рассказчика и повествователя (рассказчик в функции повествователя). Естественно, что в качестве точек отсчета берутся «чистые» формы очерка и сказа.

Между двумя обозначенными полюсами в рамках малой эпической формы располагаются все остальные виды эпоса: рассказ, который может тяготеть к одному из полюсов; анекдот, принципиально событийный и безразличный к исполнителю, и т. д.

До настоящего времени не существует отправного пункта, по отношению к которому мог бы изучаться литературный сказ. Прямая речь для этих целей была непригодна или пригодна постольку, поскольку сказ характеризовался в качестве особой формы речеведения, а не вида эпоса. Исследование же сказа относительно малых форм эпоса, предлагаемых здесь как точка отсчета, вероятно, будет способствовать выявлению тех его особенностей, которые установимы лишь при комплексном филологическом изучении.

Итак, литературный сказ в плане принятой нами трактовки выступает видом эпической прозы и относится к малой эпической форме. Среди признаков, присущих ему как виду эпоса, можно выделить признаки «типовые» и «оригинальные». «Типовыми» будем считать те, которые являются следствием принадлежности сказа к малой эпической форме. Назовем здесь прежде всего небольшой объем произведений, относимых к данному виду: это наиболее важный и структурно определенный из «типовых» признаков. «Достаточным и необходимым условием для единства жанра (здесь: вида. — Е. К.) от эпохи к эпохе являются черты «второстепенные», подобно величине конструкции», — писал Ю. Н. Тынянов²⁶. Важность этого «типового» признака объясняется тем, что он определяет собой и все остальные особенности, делающие сказ видом эпической прозы. Если этот признак отсутствует, то нет смысла говорить о самостоятельном бытии сказа, поскольку в этом случае мы будем иметь дело с литературным приемом. Действительно, сказ «сказывается» на аудиторию, которая может воспринимать «звучящую речь» не слишком долго. Об устности сказа, о его театральной импровизированности и проч. бесполезно упо-

²⁶ Тынянов Ю. Н. Указ. соч., с. 256.

минать до тех пор, пока не акцентирован объем текста: иначе при квалификации произведения как сказа или несказа все остальные признаки будут в конце концов преданы забвению²⁷. Нормальная же аудитория способна воспринимать непрерывно звучащую речь не более двух часов, что приблизительно соответствует сорока страницам печатного текста. Стало быть, «величина конструкции» не должна выходить за пределы данного объема.

Следующими «типовыми» признаками литературного сказа, связанными с его принадлежностью к малой эпической форме, являются небольшое количество действующих лиц с рельефно очерченным главным героем (или группой героев), ограниченность времени и места действия: это, как правило, несколько эпизодов, соединенных между собой причинно-следственной связью. Результатом принадлежности сказа к малым эпическим формам являются также динамичность повествования и возможная назидательность (нравственный урок, извлекаемый слушателями из поведения действующих лиц).

Что же касается «оригинальных» признаков сказа, то следовало бы вернуться к тем отличительным особенностям, которые отграничивают его от литературного очерка, поскольку именно они и создают *differentia specifica* рассматриваемого нами вида эпоса. Установка сказа на «внелитературную характерность» повествователя отличает его от очерка и других малых форм. Действительно, если художественное произведение небольшого объема подчиняет событийную основу выявлению черт носителя повествования, то можно с уверенностью говорить о таком произведении, как о литературном феномене, тяготеющем к сказу. Остается только выяснить степень этого тяготения, чтобы квалифицировать произведение в качестве сказа или несказа. Здесь-то и приходят на помощь рассмотренные в начале статьи характеристики сказа как особой формы речеведения. Учет всех этих признаков в консолидации с только что названными и создает литературный сказ как вид эпоса.

Итак, комплексный лингво-стилистический и литературоведческий анализ исследуемого нами объекта позволяет дать более точную его дефиницию: литературный сказ есть

²⁷ Как получилось, например, в монографии «Поэтика сказа», где сказовой повестью признается «Очарованный странник» Лескова (120 с., или 6 часов (!) непрерывного говорения).

оформленный как закрытая композиция и построенный по принципу отчуждения вид эпоса (малая эпическая форма), представляющий собой художественную имитацию процесса устного монологического говорения, нацеленную на создание иллюзии синхронного его восприятия. Такая дефиниция открывает возможность сравнительного анализа, например, рассказа и сказа, очерка и сказа, анекдота и сказа, что, несомненно, должно содействовать прояснению онтологической характеристики интересующего нас вида.

Как и всякий литературный вид, сказ дифференцируется по жанровым образованиям. Помня о том определении жанра, которое было предложено выше, попытаемся теперь представить жанровую систему литературного сказа — по крайней мере, в тех ее частях, которые ужеочно закрепились в литературе. По-видимому, существует некоторая типология функциональных смещений, которую — применительно к литературному сказу — удобно показать относительно некоего абстрактного, «нейтрального» рассказчика («норма экспектации», в соответствии с теорией социальных ролей). Кстати, на базе функционального смещения может быть проанализирован и стиль художественного произведения, если рассматривать его как функциональное смещение относительно некоторого «нейтрального» стиля, представленного, например, хроникальной заметкой в газете или официально-деловым документом, взятыми за точку отсчета. В этом случае также выстраивается типология функциональных смещений, но уже иного — собственно-стилистического — типа.

Если понимать под жанром функционально смещенную относительно вида разновидность, то в соответствии с ролевой системой личности²⁸ намечается целый ряд смещений, которые применительно к литературному сказу определены константными для какого-либо отрезка времени качествами носителя повествования (в связи с набором характерных для него ролей).

²⁸ «Понятие «социальная роль» отражает механизм (способ, форму) социальной детерминации личности. Это понятие и связанные с ним понятийные ряды позволяют соотносить объективные условия деятельности социально-исторической общности с их отражением в сознании данной общности, в сознании личности и с реальным (явным) социальным поведением личности. Тем самым оказывается возможным совершать переход от анализа общества как системы к анализу личности как системы». Швейцер А. Д., Никольский Л. Б. Введение в социолингвистику. М., 1978, с. 46.

К первой группе определителей отнесем следующие типы смещений:

а). Смещение классово-идеологическое. Среди функциональных смещений первой группы этот тип занимает ведущее положение не только потому, что «способ производства материальных благ обуславливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще»²⁹, но и потому, что классово-идеологическая экспекция оказывается наименее релятивной: перцепторы ждут от рассказчика строго определенной идеологической позиции и при отсутствии таковой руководствуются собственной критической позицией в оценке изображаемых характеров и событий. Нормой экспекции в данном случае выступает рассказчик прогрессивных убеждений (иногда независимо от социально-классовой принадлежности), носитель прогрессивной идеологии (в советском обществе — идеологии рабочего класса). Классово-идеологическое смещение оказывается наиболее заметным среди других функциональных смещений первой группы и часто обуславливает все остальные типы смещений: оно выступает функциональной доминантой в пределах этой группы. Не смещены в данном плане рабочие сказы П. Бажова, а также сказы Б. Шергина, М. Кочнева, С. Власовой, Ю. Лодкина. А вот сказы М. Зощенко и М. Кольцова оказываются смещеными: здесь рассказчик является носителем мещанской идеологии, идеологии пережиточной, и может быть выходцем из любой социальной среды, вследствие чего не иметь собственной классовой позиции.

б). Этническое смещение. В данном случае обычно экспектируется альтруистический тип нравственного отношения к действительности: в сознании реципиентов повествователь, как правило, выступает носителем высоких этических начал, и, если идеи, чувства, им объективируемые, не соответствуют представлениям читателей о нравственном идеале, наблюдается функциональное смещение, создающее соответствующее жанровое образование: например, ложно-альtruистический сказ М. Зощенко или М. Кольцова и т.д.³⁰. Сказы же Бажова не смещены этически: они отвечают альтруистической экспекции реципиентов.

²⁹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 13, с. 7.

³⁰ О «ложной этической оценке» см.: Лихачев Д. С. Ложная этическая оценка у Н. С. Лескова. — Звезда, 1980, № 7.

Профессиональное смещение, как мы полагаем, невозмож-
но: эта сфера слишком широка, чтобы поддаваться какой-
либо определенной экспекции (ср., например, горняцкие
сказы Бажова, сказы ткачей Кочнева, рыбакские сказы Пи-
сахова).

в). Возрастное смещение. Можно утверждать, что реци-
пientы не экспектируют также никакого определенного воз-
раста рассказчика. Но условно за точку отсчета мы примем
некоторый «средний» возраст повествователя как наиболее
«нейтральный» по отношению к реципиентам разных возрас-
тов. Естественно, что в таком случае функционально сме-
щенным окажутся «стариковский сказ» Бажова, «детский
сказ» Житкова, редко — Зощенко. Несмешенными сказами
будут, например, сказы Кольцова и основной корпус сказов
Зощенко, в которых носителем повествования выступает че-
ловек среднего возраста.

Названными смещениями исчерпывается первая группа
функциональных смещений, связанных с собственно-лично-
стными характеристиками носителя повествования.

Во вторую группу включаются те смещения, которые свя-
заны со способом «материализации» входящих в структуру
личности рассказчика интеллектуально-эмоционально-воле-
вых реакций на объективную действительность. Имеются в
виду речевое, временное и сюжетное смещения³¹. Функцио-
нальной доминантной среди них выступает речевое смещение,
которое оказывается наиболее широким и охватывает обши-
рную область грамматических и лексических средств, служа-
щих самохарактеристике рассказчика и отличающихся от
тех, какие обычно используются автором при создании ли-
тературно-художественных текстов.

а). Речевое смещение. Такой тип функционального сме-
щения предполагает более или менее заметное отклонение
речи повествователя от литературной нормы письменного
языка. В этом отношении любой сказ является смешенным,
так как он нацелен на создание иллюзии устного говорения
и — насколько это возможно на письме — строится с тен-
денцией к соблюдению примет спонтанной устной речи. И
такое смещение конструктивно для литературного сказа. Од-
нако существуют иные способы отклонений: например, по-

³¹ Вероятно, нет смысла выделять в особый тип пространственное
смещение, так как норму экспекции (из-за размещения реципиентов на
различных территориях) установить затруднительно.

строение текста в большей или меньшей степени на базе диалектного субкода (территориальный и профессиональный диалекты в сказах Бажова, арго у Бабеля и т. д.). В большинстве случаев сказ представляет собой все-таки смешенную речь, хотя возможны и несмешенные варианты (одноголосый, по Бахтину, сказ Тургенева).

б). Временное смещение. За норму экспекции удобно принять время рассказа (в отличие от «рассказанного» времени, по терминологии немецких стилистов) не только потому, что читатели ждут от большинства художественных произведений ответа на наиболее острые вопросы современности, но и потому, что решение вопросов, связанных с прошлым, как правило, проецируется на презентное время. Тогда смешенным будет считаться сказ о далеком прошлом («Ермаковы лебеди» Бажова), а несмешенным — повествование об исторически актуальном для повествователя, предполагающем не только сегодняшний день, но и недавнее прошлое (актуальный временной блок). Сказы Кольцова и — за редкими исключениями — Зощенко в этом отношении не смешены.

в). Сюжетное смещение. Известно, что главным содержанием эпоса выступает событие. Действительно, эпическая проза событийна, однако часто — с особыми художественными целями — этот конструктивный принцип построения эпических произведений нарушается. В том случае, когда сказ целиком строится как бессюжетное повествование (многие виды публицистических произведений также лишены признаков событийности), есть смысл говорить о функциональном смещении относительно традиционного способа повествования, что характерно, например, для сказов Кольцова («Иван Вадимович — человек на уровне») и не характерно для творчества Бажова. Впрочем, такое обнажение принципа обычно вообще не используется широко, хотя научной критикой уже отмечен и «стиховой», «почти лирический» сказ (Ю. Н. Тынянов) и сказ с «домinantой стилистической» (В. В. Гофман).

Технологическое смещение занимает особое место и образует самостоятельный вид функциональных смещений. Термин «технологическое смещение» отсылает к технике литературного труда, т. е. предполагает построение художественного произведения в соответствии с речевыми традициями, принятыми в разных типах словесного творчества: фольклорном повествовании (Бажов), в газете («публицистический

сказ» Кольцова) и т. д. Такие литературные произведения функционально смешены относительно «нормального», беллетристического способа построения художественного текста, экспектируемого каждым, кто когда-либо соприкасался с фактами словесного искусства. Технологическое смещение часто оказывается менее заметным, чем другие виды смещений, — как всякий признак, не лежащий на поверхности, но затрагивающий сущность явления. Тем не менее мы считаем технологическое смещение настолько важным, что предлагаем рассматривать его в качестве отдельного типа; оно определяет не только форму повествования, но и его содержание: например, систему социально-классовых, морально-этических и других оценок рассказчика.

Этими наиболее значительными смещениями исчерпывается жанровая специфика литературного сказа. Полный его анализ предполагает, таким образом, описание каждого из названных смещений. Для частичного же анализа достаточным будет рассмотрение сказа по функциональным доминантам: в плане социально-классового, речевого и технологического смещений. Однако, помятуя об особой важности технологического смещения, мы предлагаем называть жанр, ориентируясь на технологию («фольклорный» сказ Бажова, «публицистический» сказ Кольцова и т. д.).

По-видимому, система жанров литературного сказа может быть представлена и в ином плане, чем это делается в данной статье. Однако в соответствии с предлагаемым здесь определением жанра эксплицируемая выше система помогает не только уяснить некоторые существенные черты литературного сказа, но и выстроить линию его эволюции, тем более, что такая потребность давно уже назрела и что текстовый материал, накопленный за время существования сказа, позволяет выстроить такую линию. Вероятно, для этого нет нужды далеко углубляться в историю литературы, что обычно и не делается: даже в наиболее полной монографии о литературном сказе³² соответствующий отчет начинается со времен А. С. Пушкина («Повести покойного Ивана Петровича Белкина»). Не станем останавливаться на вопросе о том, что в «Повестях...» сказ используется как художественный прием и не выкристаллизовывается в какое-либо видовое образование (также и вследствие слишком большого объема названных произведений). Но даже в случае при-

³² Мущенко Е. Г. и др. Указ. соч., с. 41.

знания «Повестей Белкина» первой формой литературного сказа время его возникновения следует считать исторически весьма недалеким: учитывая, например, что «современный русский язык» определяется как язык, охватывающий временной отрезок от творчества Пушкина до наших дней.

Кроме того, традиционная практика разделения сказа на «жанр» фольклора и «жанр» литературы³³ не выдерживает строгой критики, поскольку литературный сказ формировался не без влияния фольклорного сказа³⁴. Думается, что исторически первой формой сказа был сказ фольклорный и уже в этой своей ипостаси соответствующий вид художественной практики обнаруживал свойственные ему устойчивые видовые черты: небольшой объем, устно-импровизированный характер повествования, установку (в смысле Тынянова) на синхронное восприятие и т. д. Вероятно, фольклористы могли бы содействовать решению поставленной теоретической проблемы, если бы записи фольклорных сказов были бы документально точными и не подвергались корректированию с целью приближения их к литературной норме. Однако такие сборники, к сожалению, чрезвычайно редки, и мы не имеем возможности затрагивать вопрос о конвергентных и различительных чертах литературного и фольклорного сказов, тем более что достаточно материалов для сопоставлений дают литературные сказы, воспроизводящие существенные черты фольклорного повествования (Бажов). Нас устроило бы утверждение, согласно которому путь эволюции сказа может быть представлен следующим образом: фольклорный сказ (как вид устного народного поэтического творчества) —> литературный сказ (классический) как вид эпоса, дифференцированный по жанровым образованиям, —> публицистический сказ (жанр, завершающий эволюцию соответствующего вида и репрезентирующий этот вид в настоящее время). Основания для подобных утверждений таковы.

В большинстве исследований о литературном сказе (ученые обращают внимание главным образом на классический его вариант) подчеркивается, что этот вид художественной практики как никакой другой связан с общественной жизнью

³³ См. Краткую литературную энциклопедию, где для данного феномена существуют даже две различные словарные статьи (КЛЭ, т. 6, с. 875—876).

³⁴ Это убедительно доказано Р. Р. Гельгардтом. См.: Гельгардт Р. Р. Указ. соч.

того периода истории, в рамках которого он создается. По мере развития общественных отношений и упрочения связей между литературой и действительностью возникает тенденция ко все более отчетливой публицистичности данного литературного вида. Носитель повествования в сказе, выдигаемый обычно из строго определенного слоя общества, в процессе стирания классовых различий все более становится выразителем дум и чаяний всего народа в общенародном государстве. А ведь всеми историками и теоретиками публицистики давно уже признано, что в советском обществе публицистические произведения выражают идеи и чувства всего народа.

Между сказом и традиционно выделяемыми видами публицистики существуют и черты типологической, стилистической близости, благодаря которым сущностные характеристики сказа не только не противоречат релевантным признакам публицистической литературы, но и соответствуют ей, дополняют репертуар ее видовых форм.

Прежде всего сказ отвечает всем «критериям информативности» публицистического текста³⁵. Действительно, «оригинальность, небанальность» представленной в тексте точки зрения есть конструктивный признак сказа: сказ не может состояться, если отсутствует индивидуальная — более или менее репрезентативная — позиция рассказчика, выступающего либо от своего имени, либо от имени неопределенного множества лиц. «Доступность, декодируемость» также характерны для сказа, ибо его отличает установка на синхронность читательского восприятия, которое может быть синхронным лишь в случае доступности заложенной в тексте информации. Трудности, возникающие в процессе декодирования, или частичная недекодируемость текста снижали бы интерес слушателей и препятствовали бы оптимальному протеканию коммуникативно-речевого акта. Наконец, «релевантность» (понимаемая как соответствие интересам аудитории³⁶) выступает еще одним важным свойством литературного сказа, который, в отличие от ряда видов публицистики (например, обзора, реферата), использует — хотя бы только в качестве художественного приема — указание на внутреннюю ауди-

³⁵ О критериях информативности, отмечаемых ниже, см.: Прохоров Е. П. Журналистика как сфера информационной деятельности. — В кн.: Методы исследования журналистики. Ростов-на-Дону, 1979, с. 7.

³⁶ Там же, с. 9.

торию: реакция «слушателей» иногда программирует реакции читателей. Во всяком случае, многие речевые приметы портрета рассказчика (диалектные вкрапления) свидетельствуют именно о территориально-диалектной, профессиональной, социальной или какой-либо иной ориентации повествователя, создающей микросреду «слушателей», способных адекватно воспринять сказовый текст.

Кроме того, сказ, включенный в состав публицистических видов, поляризует видовую систему публицистики с точки зрения степени выраженности авторской позиции: эта степень наиболее высока в рецензии и минимальна в сказе, где не только нет прямого авторского «слова» но, напротив, оно замещено речью рассказчика (исключая случаи авторского сказа). Следовательно, сказ, находясь на одном из полюсов видовой системы публицистики, есть вид наименее «личностный» относительно точки зрения автора.

В плане ролевых отношений, связанных с процессом коммуникации, литературный сказ и газетные публикации также обнаруживают сходные черты. Как газетная, так и «литературно-сказовая» коммуникация протекают в асимметричных ситуациях³⁷, поскольку социальные параметры коммуникантов совпадать не могут: инициатор (производитель речи, продуцент) не способен учесть социального статуса и идеологических ориентаций каждого реципиента, в то время как его собственная социальная определенность очевидна. Тем не менее в обоих случаях «непосредственность» общения коммуникантов постоянно подчеркивается прямыми обращениями к читателю. В художественной литературе такие прямые обращения — даже от лица вымышленного героя — встречаются значительно реже. Кроме того, коммуникация «посредством сказа» — это односторонняя коммуникация, что также в основном соответствует характеру газетных публикаций³⁸, поскольку и в сказе «поэтапное уточнение смысла и достижение согласия» (В. Г. Костомаров) оказывается невозможным: это нарушило бы иллюзию поточного монологического говорения.

³⁷ Симметричность ситуации в пределах сказа может становиться художественным приемом, использованным для «свертывания» речевой партии: учеными наблюдало, что чем менее официальны отношения между коммуникантами, тем менее эксплицитны высказывания. См.: Крысин Л. П. Речевое общение и социальные роли говорящих. — В кн.: Социально-лингвистические исследования. М., 1976, с. 50.

³⁸ Костомаров В. Г. Русский язык на газетной полосе. М., 1971, с. 68.

«Существенным компонентом социальной роли является ожидание (expectation)»³⁹. Применительно к сказу (ср. газетную коммуникацию) такую экспекцию можно было бы назвать свободной: ведь социальная роль рассказчика проясняется и корректируется воспринимающими в ходе «прослушивания» сказового монолога. Экспектируется же только некоторый абстрактный монолог: он должен быть понятным и информативным (в широком смысле, включая и оригинальную точку зрения). Однако если к автору газетной публикации любого вида предъявляются требования профессионального ведения монолога, то рассказчику — в связи с иным набором ролей — многое прощается: и местно-диалектные вкрапления в повествовательную речь, и социально-диалектная ее окрашенность, и кратковременные отступления от основного мотива повествования, и паузы, а также «дефекты памяти» (как приемы создания речевого портрета повествователя-рассказчика, демонстрирующие его непринужденное монологическое говорение) и т. д. Читатель «верит» в непостоянность (сituативность) роли рассказчика, которую берет на себя представитель социальной группы, далекой от литературно-художественного творчества. Задача писателя и состоит в том, чтобы не обмануть доверия читателей, поддерживая их веру в непрофессиональность рассказчика. Возникает своего рода динамический стереотип речевого поведения рассказчика, достаточно гибкий, чтобы оправдать некоторую абстрактность ожидания рецептиентов. Тем не менее для сказа также приемлем способ «достижения полезной избыточности» текста (В. Г. Костомаров), однако не путем мультитрюковой организации текста, а другими средствами: сказ по сравнению с традиционными видами публицистики гораздо менее экономичен в чисто информативном отношении, зато он дает больше возможностей для характеристики носителя повествования. Поэтому стандартность речи (в смысле В. Г. Костомарова) может выступать лишь литературным приемом, усиливающим экспрессию текста в целом (ср. М. Кольцов, М. Зощенко).

Кроме ситуативных ролей (в данном случае — роли рассказчика), социальная структура индивида включает в себя и постоянные роли, которые влияют на его «личностные качества (его ценностные ориентации, мотивы его деятельно-

³⁹ Крысин Л. П. Указ. соч., с. 42.

сти, его отношение к другим людям)»⁴⁰. Так, профессиональная роль рассказчика, как правило, очевидна при проигрывании им ситуативной роли. Он пользуется профессионализмами, отражающими детали производственного, трудового быта и выступающими сигналами его принадлежности к определенной профессиональной среде, где рассказчик проигрывает свою профессиональную роль (вне ситуации повествования): это, например, чиновник-бюрократ Кольцова и Зощенко, горняк Бажова и др. Профессиональные сигналы необходимы для того, чтобы мотивировать более (Зощенко, Кольцов) или менее (Бажов) непрофессиональное ведение монолога — в смысле артистизма, присущего выдающимся мастерам — носителям сказочного фольклора. Действительно, избыточность информации, поиски слова, паразитические слова, дефекты памяти, часто свойственные повествователю, нуждаются в мотивации не только устным характером «говорения» (оно может быть и не спонтанным), но и профессиональной неподготовленностью рассказчика к ведению литературного монолога. Известно, что «при переходе с профессиональной роли на другие может происходить как полное речевое переключение, так и неполное. При полном говорящий совершенно не использует в своей речи языковые средства, характеризующие проигрывание им профессиональной роли. При неполном переключении профессионально-языковые средства в большей или меньшей степени присутствуют в речи говорящего даже тогда, когда он проигрывает роли, не связанные с его профессией»⁴¹. Очевидно, второй случай и будет характерным для сказа. Рассказчик обычно неполностью переключается с диалектного (территориального и/или социального) субкода на литературный язык: в его речи продолжают сохраняться диалектные элементы на фоне общелiterатурной традиции. Иначе — при пользовании только диалектным субкодом — не мог бы состояться коммуникативный акт, в который вовлечены реципиенты, диалектом не владеющие. Но и чисто литературный код также не приемлем для большинства сказов: литературный язык рассказчика препятствовал бы дистанцированности автора и рассказчика, переводя расхождения между ними в чисто концептуальный план.

Итак, теория коммуникации и теория социальных ролей

⁴⁰ Кон И. С. Социология личности, М., 1967, с. 24.

⁴¹ Крысин Л. П. Указ. соч., с. 46.

помогли выявить признаки, сближающие газету и сказ: он действительно включает в свою структуру как черты беллетристической, так и черты публицистической литературы, т. е. занимает промежуточное положение между двумя названными типами литературы, подобно очерку и фельетону. Попадая в публицистику из беллетристики, сказ приобретает некоторые дополнительные характеристики, делающие его видом публицистической литературы.

Так, если литературно-беллетристический сказ не предполагает непременно социально и политически значимой проблематики, а строится, например, как повествование иногда преимущественно фантастического или бытового плана, то публицистический сказ обязательно связывается с тематикой социальной, политической. И это первый признак, отличающий беллетристический сказ от публицистического, но признак недифференцировочный, поскольку и беллетристический сказ может быть политически окрашенным: например, «Шелковая горка» Бажова. Следовательно, только тематического различия здесь оказывается недостаточно.

Действительно, существуют и другие дивергентные признаки. Публицистический сказ, в частности, обычно предполагает несовпадение авторской точки зрения с точкой зрения носителя повествования, благодаря чему часто возникает комический эффект. У М. Кольцова, например, нет сказов, которые велись бы от имени медиума, выражающего взгляды самого автора или близкие к ним позиции: автор и рассказчик являются антиподами. То же можно сказать и о большинстве произведений М. Зощенко данной видовой формы. В беллетристике случаи совпадения гораздо более часты. Впрочем, названный признак также не является дифференцировочным.

Публицистический сказ отличается от беллетристического и большей компактностью, что свидетельствует о его принадлежности газете, не могущей предоставить автору много места. Но и данный признак, как видим, нельзя назвать дифференцировочным, ибо возможны случаи, когда беллетристический сказ занимает одну страницу и менее (ср., например, детские сказы Б. Житкова, объединенные общим названием «Что я видел»).

Наконец, публицистический сказ предполагает более тесный контакт с воспринимающей его «аудиторией», чем соответствующий вид художественной литературы, поскольку газетный материал более оперативен, он быстрее доходит до

читателя и рассчитан на немедленную реакцию адресата. Трудно назвать дифференцировочным и этот признак.

По-видимому, только совокупность перечисленных примет позволяет отграничить публицистический сказ от беллетристического: в отдельности названные приметы «не работают». Отсюда следует вывод о том, что беллетристический сказ и публицистический суть не различные феномены, но видовые модификации одного и того же литературного вида, причем публицистический сказ основан на технологическом смещении относительно соответствующего литературного вида.

По нашему убеждению, в настоящее время допустимо говорить о сказе прежде всего как о виде литературы публицистической или, по крайней мере, переходной от беллетристики к публицистике, помня, однако, о стадиях эволюции данной видовой формы. Как и история любого вида литературы, история сказа является собой движение в сторону кристаллизации группы текстов — в то, что стиховеды называют «твёрдой формой», имея в виду достаточно стабильную структуру с более или менее прочно прикрепленными к ней элементами содержания или, скорее, тематическими признаками (ср., например, преимущественно интимно-лирический характер «твёрдой формы» сонета). Движение в сторону «твёрдой формы» литературного сказа (*Muster*) представляется процессом закрепления типических признаков сказа и устранения случайных черт, не характерных (не могущих быть характерными) для соответствующего вида в силу того, что данный вид должен четко вычленяться из системы видов литературы⁴². Проблема дифференциации сказа осложнена наличием в упомянутой системе таких видов эпоса, как рассказ, новелла и т. д. И не случайно, что наиболее чистый вариант сказа дает не беллетристика, а публицистика (например, уже упоминавшийся цикл сказов М. Кольцова). Вероятно, в системе публицистики, несмотря на весьма скрупулезное описание ее видов, как в системе более динамичной по причине ее постоянной связи с жизнью современного ей общества, существует все-таки некоторое количество вакантных мест для новых видов и жанров⁴³. Что ка-

⁴² На этом основана теория «чистоты жанра» (*genre tranché*). См.: Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы. М., 1979, с. 251.

⁴³ См., например: Карасев П. С. Открытое письмо — публицистический жанр. — В кн.: Проблемы газетных жанров. Л., 1962; Маслова Н. Путевые записки как публицистическая форма: Становление и развитие жанра «путешествия» в публицистике. М., 1977 и др.

сается системы видов эпоса, то ее составляющим приходится несколько потесниться, чтобы включить в себя, например, такой вид литературы, каким является сказ, поскольку не только виды эпоса представляют собой «окаменевшие конструкции», но и сама система видов давно уже стала «твёрдой формой», которая разнообразится лишь за счет новых жанровых образований (типа интеллектуального романа и проч.). Публицистика же представляет собой постоянно изменяющуюся и саморазвивающуюся систему⁴⁴ — то, что называют «открытой системой». Может быть, поэтому литературный сказ и выходит в публицистику, чтобы закрепиться здесь «чистым видом».

Окончательная дефиниция сказа будет такой: сказ есть оформленный как закрытая композиция и построенный по принципу отчуждения вид литературы (малая форма), занимающий промежуточное положение между беллетристикой и публицистикой (с тяготением к публицистике) и представляющий собой художественную имитацию процесса устного монологического говорения, нацеленную на создание иллюзии синхронного его восприятия.

При решении проблемы сказа в филологии возникает потребность не только обращаться к разнообразным отраслям литературоведения для того, чтобы определить типические признаки этого вида литературы и наметить его место среди других видов эпоса и типов словесного творчества. Достижению поставленных целей содействует и выход за пределы литературоведения к ряду гуманитарных наук — к наукам, изучающим язык, материальную и духовную культуру народа. В русле идей филологии как науки комплексной идет раскрытие отношения произведений искусства к действительности. Применительно к нашему объекту изучения это, во-первых, отношение языкового материала литературного сказа к нациальному языку — его литературно-кодифицированной форме, к местным диалектам, к диалектам социальным, что требует привлечения идей и фактов, которыми оперирует лингвистика (наука о литературном языке, диалектология). Во-вторых, это установление соотношений между предметно-тематическим, идейно-образным содержанием сказа и современной для писателя социальной действительностью. Таким приемом изучения уясняются фактиче-

⁴⁴ Белков А. К. Советская публицистика и ее основные черты. М., 1973, с. 17.

ская достоверность компонентов «содержания» и способы творческого преобразования, осмысления материала, который писатель отобрал из «фактов, явлений жизни». Таков и путь, позволяющий выявить публицистичность сказов как откликов на остроактуальные вопросы и запросы, выдвигаемые общественной практикой⁴⁵. Это могут быть также идеи, связанные с историей народа, с необходимостью новой, современной интерпретации исторических событий и характеристики исторических деятелей⁴⁶. Обращение к этнографии оказывается уместным, если автор сказов ставит одной из познавательных задач ознакомление читателей с материальной и духовной культурой местного края, включая и устное народно-поэтическое творчество.

Эти и многие другие аспекты изучения литературного сказа (что, впрочем, относится и к остальным видам словесного искусства) входят в состав филологии, широко интерпретируемой. Мы же ограничили свои задачи рассмотрением литературного сказа в плане науки о языке (стиле) художественной литературы (акад. В. В. Виноградов), которая является лишь частью филологии как комплексной дисциплины.

⁴⁵ Так, позитивная тема созидательного творческого труда, особенно привлекавшая внимание писателей в годы первых пятилеток, решалась, например, в таких сказах П. Бажова, как «Каменный цветок», «Горный мастер», «Чугунная бабушка»; негативная тема — борьба с бюрократизмом, чинопочитанием, очковтирательством, распространенными в среде нового «советского» мещанства — в сказах М. Кольцова и М. Зощенко.

⁴⁶ Ср. такие сказы Бажова об исторических лицах и деятелях культуры, как «Ермаковы лебеди», «Дорогой земли виток», «Коренная тайна», «Демидовские кафтаны».

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Гельгардт Р. Р., Растворгусев В. Н.</i> Методологический аспект в изучении предметной области научного познания и статус современной филологии	3
<i>Горшков А. И.</i> Уровни исследования языка и филология. На материале русского языка	17
<i>Бельчиков Ю. А.</i> История русского литературного языка и филология	33
<i>Верещагин Е. М., Костомаров В. Г.</i> Филологический подход к соматическому языку	42
<i>Клюканов И. Э.</i> Несколько замечаний о графических средствах оформления текстов	82
<i>Толстой Н. И.</i> Мысли Н. С. Трубецкого о русском и других славянских литературных языках	98
<i>Кожевникова Н. А.</i> Окказионализмы А. Белого и Словарь В. И. Даля	120
<i>Клюев Е. В.</i> Литературный сказ как объект комплексного филологического изучения	140